



Ч А Р Л З

ДИККЕНС

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Чарлз Диккенс
Тайна Эдвина Друда

Перевод с английского О. Холмской
Серийное оформление Е. Ферез

Эксклюзивная классика

© Перевод. О. Холмская, наследники, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Чарлз Диккенс
Тайна Эдвина Друда

Глава I

Рассвет

Башня старинного английского собора? Откуда тут взялась башня английского собора? Так хорошо знакомая, квадратная башня – вон она высится, серая и массивная, над крышей собора... И еще какой-то ржавый железный шпиль – прямо перед башней... Но его же на самом деле нет! Нету такого шпиля перед собором, с какой стороны к нему ни подойди. Что это за шпиль, кто его здесь поставил? А может быть, это просто кол, и его тут вбили по приказанию султана, чтобы посадить на кол, одного за другим, целую шайку турецких разбойников? Ну да, так оно и есть, потому что вот уже гремят цимбалы, и длинное шествие – сам султан со свитой – выходит из дворца... Десять тысяч ятаганов сверкают на солнце, трижды десять тысяч алмей^[1] усыпают дорогу цветами. А дальше белые слоны – их столько, что не счесть, – в блистающих яркими красками пополах, и несметные толпы слуг и провожатых... Однако башня английского собора по-прежнему маячит где-то на заднем плане – где она быть никак не может, – и на колу все еще не видно извивающегося в муках тела... Стой! А не может ли быть, что этот шпиль – это предмет самый обыденный – всего-навсего ржавый шип на одном из столбиков расхлябанной и осевшей кровати? Сонный смех сопровождает эти догадки и размышления.

Человек, чье разорванное сознание медленно восстанавливалось, выплывая из хаоса фантастических видений, приподнялся наконец, дрожа всем телом; опершись на руки, он огляделся кругом. Он в тесной жалкой комнатухе с нищенским убранством. Сквозь дырявые занавески на окнах с грязного двора просачивается тусклый рассвет. Он лежит одетый, поперек неопрятной кровати, которая и в самом деле осела под тяжестью, ибо на ней – тоже поперек, а не вдоль, и тоже одетые – лежат еще трое: китаец,

ласкар^[2] и худая изможденная женщина. Ласкар и китаец спят – а может быть, это не сон, а какое-то оцепенение; женщина пытается раздуть маленькую, странного вида, трубку. При этом она заслоняет чашечку костлявой рукой, и в предрассветном сумраке рдеющий уголек бросает на нее отблески, словно крошечная лампа; и пробудившийся человек видит ее лицо.

– Еще одну? – спрашивает она жалобным хриплым шепотом. – Дать вам еще одну?

Он озирается, прижимая руку ко лбу.

– Вы уже пять выкурили с полуночи, как пришли, – продолжает женщина с той же, видимо, привычной для нее, жалобной интонацией. – Ох, горюшко мне, горе, голова у меня все болит. Эти двое уж после вас пришли. Ох, горюшко, дела-то плохи, плохи, хуже некуда. Забредет китаец какой из доков, да вот ласкар, а новых кораблей, говорят, сейчас и не ждут. Ну вот тебе, милый, трубочка! Ты только не забудь – цена-то сейчас на рынке страх какая высокая: за этакий вот наперсток – три шиллинга шесть пенсов, а то и больше еще сдерут! И не забывай, голубчик, что только я одна знаю, как смешивать, – ну и еще Джек-китаец на той стороне двора, только где ему до меня! Он так не сумеет! Так уж ты заплати мне как следует, ладно?

Говоря, она раздувает трубку, а иногда и сама затягивается, вбирая при этом немалую долю ее содержимого.

– Ох, беда, беда, грудь у меня слабая, грудь у меня больная! Ну вот, милый, почти уж и готово. Ах, горюшко, эх рука-то у меня дрожит, словно вот-вот отвалится. А я смотрю на тебя, вижу, ты проснулся, ну, думаю, надо ему еще трубочку изготовить. А уж он попомнит, какой опиум сейчас дорогой, заплатит мне как следует. Ох, головушка моя бедная! Я трубки делаю из чернильных склянок, малюсеньких, что по пенни штука, вот как эта, видишь, голубчик? А потом прилажу к ней чубучок, вот этак, а смесь беру этой вот роговой ложечкой, вот так, ну и все, вот и готово. Ох, нервы у меня! Я ведь шестнадцать лет пила горькую, а потом вот за это взялась. Ну

да от этого вреда нету. А коли и есть, так самый маленький. Зато голода не чувствуешь и тратиться на еду не надо.

Она подает наполовину опустевшую трубку и, откинувшись на постель, переворачивается вниз лицом.

Пошатываясь, он встает, кладет трубку на очаг, раздвигает рваные занавески и с отвращением оглядывает троих лежащих. Он отмечает про себя, что женщина от постоянного курения опиума приобрела странное сходство с китайцем. Очертания его щек, глаз, висков, его цвет кожи повторяются в ней. Китаец делает судорожные движения – быть может, борется во сне с каким-нибудь из своих многочисленных богов или демонов – и злобно скалит зубы. Ласкар ухмыляется; слюни текут у него изо рта. Женщина лежит неподвижно.

Пробудившийся человек смотрит на нее сверху вниз, стоя возле кровати; потом, нагнувшись, поворачивает к себе ее голову.

«Какие видения ее посещают? – раздумывает он, вглядываясь в ее лицо. – Что грезится ей? Множество мясных лавок и трактиров, где без ограничений отпускают в кредит? Толпа посетителей в ее гнусном притоне, новая кровать взамен этого мерзкого одра, чисто подметенный двор вместо зловонной помойки за окном? Выше этого ей все равно не подняться, сколько ни выкури она опиума! Что?..»

Он нагибается еще ниже, вслушиваясь в ее бормотание.

– Нет, ничего нельзя понять!

Он опять смотрит на нее: по временам ее всю словно встряхивает во сне; судорожные подергивания сотрясают ее лицо и тело – так иногда ночью от беглых молний содрогается темное небо; и это, видимо, заражает его – настолько, что он вынужден отойти к облезлому креслу у очага, поставленному так, возможно, именно на такой случай, и посидеть, крепко ухватившись за ручки, пока ему не удастся одолеть злого духа подражания. Потом он опять подходит к кровати, хватая китайца за горло и поворачивает его лицом к себе. Китаец противится, пытается отодрать его руки, хрипит и что-то бормочет.

– Что?.. Что ты говоришь?

Минута настороженного ожидания.

– Нет, нельзя понять!

Сдвинув брови, внимательно вслушиваясь в несвязный лепет, он медленно разжимает руки. Затем оборачивается к ласкару и попросту сбрасывает его с кровати. Грохнувшись об пол, тот приподнимается, сверкает глазами, делает яростные жесты, замахивается воображаемым ножом. И тут выясняется, что женщина еще раньше, безопасности ради, отобрала у него нож; ибо теперь она тоже вскакивает, кричит, унимает его, и, когда наконец оба рядом валятся на пол, вновь охваченные сном, нож ясно обозначается не у него, а у нее под платьем.

Шуму и крику было довольно, но трудно было что-либо во всем этом разобрать. Если и прорывались отдельные слова, то без смысла и связи. Поэтому третий, пристально следивший за ними, выводит прежнее свое заключение:

– Нет, ничего нельзя понять! – Он говорит это с удовлетворенным кивком головы и с мрачной усмешкой. Затем кладет на стол горсть серебряных монет, отыскивает свою шляпу, ощупью спускается по выбитым ступенькам, попутно пожелав доброго утра привратнику, воюющему с крысами в темной своей камере под лестницей, и исчезает.

В тот же день под вечер массивная серая башня предстает издали глазам утомленного путника. Колокола звонят к вечерне, и, должно быть, ему непременно нужно на ней присутствовать, ибо, ускоряя шаги, он спешит к открытым дверям собора. Когда он входит, певчие уже надевают свои запачканные белые стихари; он достает собственный свой стихарь и, накинув его, присоединяется к выходящей из ризницы процессии. Затем ризничий запирает решетчатую дверь, певчие торопливо расходятся по местам и, склонив головы, закрывают лицо руками. И через миг первые слова песнопения: «Егда придет нечестивый» – будят в вышине под

сводами и среди балок крыши грозные отголоски, подобные дальним раскатам грома.

Глава II

Настоятель – и прочие

Кто наблюдал когда-нибудь грача, эту степенную птицу, столь сходную по внешности с особой духовного звания, тот видел, наверно, не раз, как он, в компании таких же степенных, клерикального вида сотоварищей, стремится в конце дня свой полет на ночлег, к гнездовьям, и как при этом два грача вдруг отделяются от остальных и, пролетев немного назад, задерживаются там и неизвестно почему медлят; так что невольно приходит мысль, что по каким-то тайным соображениям, продиктованным, быть может, высшей политикой грачиной стаи, эти два хитреца умышленно делают вид, будто не имеют с ней ничего общего.

Так и здесь, после того как кончилось богослужение в старинном соборе с квадратной башней, и певчие, толкаясь, высыпали из дверей, и разные почтенные особы, видом весьма напоминающие грачей, разбрелись по домам, двое из них поворачивают назад и неторопливо прохаживаются по обнесенному оградой гулкому двору собора.

Не только день, но и год идет к концу. Яркое и все же холодное солнце висит низко над горизонтом за развалинами монастыря, и дикий виноград, оплетающий стену собора и уже наполовину оголенный, роняет темно-красные листья на потрескавшиеся каменные плиты дорожек. Днем был дождь, и теперь под порывами ветра зябкая дрожь пробегает порой по лужицам в выбоинах камней и по громадным вязам, заставляя их внезапно проливать холодные слезы. Опавшая листва лежит всюду толстым слоем. Несколько листочков робко пытаются найти убежище под низким сводом церковной двери, но отсюда их безжалостно изгоняют, отбрасывая ногами, двое запоздалых молельщиков, которые в эту минуту выходят из собора. Затем один запирает дверь тяжелым

ключом, а другой поспешно удаляется, зажимая под мышкой увесистую нотную папку.

– Кто это прошел, Топ? Мистер Джаспер?

– Да, ваше преподобие.

– Как он сегодня задержался!

– Да, ваше преподобие. И я задержался из-за него. Он, видите ли, стал вдруг не в себе...

– Надо говорить «ему стало не по себе», Топ. А «стал не в себе» – это неудобно перед настоятелем, – вмешивается более молодой из двоих грачей тоном упрека, как бы желая сказать: «Можно употреблять неправильные выражения в разговоре с мирянами или с младшим духовенством, но не с настоятелем».

Мистер Топ, главный жезлоносец и старший сторож, привыкший важничать перед туристами, которыми он по долгу службы руководит при осмотре собора, встречает адресованную ему поправку высокомерным молчанием.

– А когда же и каким образом мистеру Джасперу стало не по себе – ибо, как справедливо заметил мистер Криспаркл, лучше говорить «не по себе», да, да, Топ, именно «не по себе», – солидно внушает своему собеседнику настоятель.

– Так точно, сэр, не по себе, – почтительно поддакивает Топ.

– Так когда же и каким образом ему стало не по себе, Топ?

– Да видите ли, сэр, мистер Джаспер до того задохся...

– На вашем месте, Топ, я не стал бы говорить «задохся», – снова вмешивается мистер Криспаркл тем же укоризненным тоном. – Неудобно – перед настоятелем.

– Да, «задохнулся» было бы, пожалуй, правильнее, – снисходительно замечает настоятель, польщенный этой косвенной данью уважения к его сану.

– Мистер Джаспер до того тяжело дышал, – продолжает Топ, искусно обходя возникший на его пути подводный камень, – до того он тяжело дышал, когда входил в церковь, что уж петь ему было труднехонько. И может, по этой причине с ним потом и

приключилось что-то на манер припадка. Память у него *затмилась*. – Это слово мистер Топ произносит с убийственной отчетливостью, не сводя глаз с мистера Криспаркла и как бы вызывая его что-либо тут усовершенствовать. – Голова закружилась, и глаза стали мутные, даже боязно было на него смотреть, хоть сам он вроде не жаловался. Ну я его усадил, подал водицы, и он вскорости вышел из этого *затмения*. – Мистер Топ повторяет этот столь удачно найденный оборот с таким нажимом, словно хочет сказать: «Ловко я вас поддел, а? Так нате же вам еще раз».

– Но домой он ушел, уже совсем оправившись?

– Да, ваше преподобие, домой он ушел, уже совсем оправившись. И я вижу, он велел затопить у себя камин, это он хорошо сделал, потому на дворе мокрядь, да и в церкви нынче было ужас как сыро, и мистер Джаспер даже весь дрожал, как в лихорадке.

Все трое обращают взгляд к каменному строению, протянувшемуся поперек двора, – бывшей монастырской привратницкой над широкой аркой ворот. В окне с мелким переплетом мерцает огонь, а кругом уже сгущается сумрак, окутывая тенями пышные вороха плюща и дикого винограда на фасаде привратницкой. Соборный колокол вдруг начинает отбивать часы, и в тот же миг под налетевшим ветром зыблется листва вдали на фасаде, как будто и ее колеблет мощная волна звуков, гулом наполняющая собор и реющая над башней и гробницами, над разбитыми нишами и выщербленными статуями.

– А племянник мистера Джаспера уже приехал?

– Нет еще, – отвечает жезлоносец. – Но его ждут. Сейчас мистер Джаспер один. Видите, вон его тень? Это он стоит как раз между двумя своими окнами – тем, что выходит сюда, и тем, что на Главную улицу. А вот он задергивает занавески.

– Ну что ж, – бодрым тоном говорит настоятель, давая понять, что происходившее только что маленькое совещание закончено, – надеюсь, мистер Джаспер не слишком отдается чувству привязанности к своему племяннику. В нашем брэнном мире не

должно допускать, чтобы наши чувства – пусть даже самые похвальные – властвовали над нами; наоборот, мы должны ими управлять – да, да, именно управлять ими! Однако этот звон не без приятности напоминает мне, что меня ждут к обеду. Быть может, вы, мистер Криспаркл, по дороге домой заглянете к Джасперу?

– Обязательно загляну. Могу я сказать ему, что вы любезно осведомлялись о его здоровье?

– О да, конечно. Осведомлялся о его здоровье. Вот именно. Осведомлялся о его здоровье.

С приятно покровительственным видом настоятель заламывает набекрень свою украшенную лентами шляпу – конечно, только слегка, насколько это прилично столь важному духовному лицу, когда оно в веселом настроении, – и, бодро переступая затянутыми в изящные гетры ногами, направляется к сияющим рубиновым светом окнам столовой в уютном кирпичном домике, где он в настоящее время «имеет свое пребывание» вместе с супругой и дочерью.

Мистер Криспаркл, младший каноник, белокурый и румяный, всегда встающий на заре и не упускающий случая хоть раз в день нырнуть с головой в какой-нибудь подходящий по глубине водоем – реку ли, озеро ли – в окрестностях Клойстергэма; мистер Криспаркл, младший каноник, знаток музыки и античной словесности, приветливый, всем довольный, любезный и общительный, юноша по виду, если не по годам; мистер Криспаркл, недавно еще репетитор в колледже, а нынешнюю свою должность получивший благодаря покровительству некоего отца, признательного за успешное обучение сына, и сменивший, таким образом, водительство молодых умов по большим дорогам языческой мудрости на вождение душ по стезе христианской веры; мистер Криспаркл, младший каноник и добрый человек, хоть и спешит домой к чаю, не забывает, однако, зайти в привратническую над воротами.

– Я с огорчением услышал от Топа, что вы прихворнули, Джаспер.

– Ну что вы, это сущие пустяки.

– Вид у вас, во всяком случае, не совсем здоровый.

– Разве? Ну, не думаю. А главное, я этого совсем не чувствую. Топ, наверно, бог знает что вам наговорил. Это уж у него по должности выработалась такая привычка – придавать чрезмерное значение всему, что связано с собором.

– Так, значит, я могу передать настоятелю – я здесь по особому желанию настоятеля, – что вы уже совсем оправились?

Мистер Джаспер отвечает с легкой улыбкой:

– О да, конечно. И передайте, пожалуйста, настоятелю мою благодарность за внимание.

– Я слышал, к вам должен приехать молодой Друд?

– Я жду моего дорогого мальчика с минуты на минуту.

– Это очень хорошо. Он принесет вам больше пользы, чем доктор.

– Больше, чем десять докторов. Потому что я люблю его всей душой, а докторов с их латинской кухней не люблю вовсе.

Мистер Джаспер смугл лицом, и его густые блестящие черные волосы и бачки тщательно расчесаны. Ему лет двадцать шесть, но на вид он кажется старше, как это часто бывает с брюнетами. Голос у него низкий и звучный, фигура статная и лицо красивое, но манера держаться несколько сумрачная. Да и комната его мрачновата, и, возможно, это тоже на нем сказалось. Комната почти вся тонет в тени. Даже когда солнце ярко сияет на небе, лучи его редко достигают рояля в углу, или толстых нотных тетрадей на пюпитре, или полки с книгами на стене, или портрета, что висит над камином; на этом портрете изображена прехорошенькая юная девушка – школьница по возрасту; ее рассыпавшиеся по плечам светло-каштановые кудри перевязаны голубой лентой, и ее красоте еще больше своеобразия придает забавное выражение какого-то ребяческого упрямства – как будто она сердится на кого-то и сама понимает, что не права, но ничего знать не хочет. Портрет не имеет никаких художественных достоинств – это только набросок; но видно, что художник старался не без юмора – а может быть, даже с долей злорадства – быть верным оригиналу.

– Очень сожалею, Джаспер, что вы сегодня не будете на очередной нашей музыкальной среде, но, конечно, вам лучше посидеть дома. Итак, доброй ночи, будьте здоровы! «Скажите, пастухи, скажите мне, ска-ажите мне-е-е, видали ль вы (видали ль вы, видали ль вы, видали ль вы), как Фло-о-ора ми-и-илая тропой сей прохо-ди-ла!..» – И, разливаясь, как соловей, добряк младший каноник, его преподобие Септимус Криспаркл, на прощание просияв улыбкой, исчезает за дверью и спускается по лестнице.

Снизу слышны приветственные возгласы – distinguished Септимус, видимо, с кем-то здоровается. Мистер Джаспер прислушивается, вскакивает со стула и принимает в объятия нового гостя.

– Дорогой мой Эдвин!

– Ах, милый Джек! Рад тебя видеть!

– Ну, раздевайся же, раздевайся, мой мальчик, и усаживайся в своем уголке. Ноги у тебя не промокли? Сними башмаки. Сейчас же сними башмаки!

– Милый Джек, ничего у меня не промокло. И пожалуйста, не нянчись со мной. Терпеть не могу, когда со мной нянчатся.

Столь бесцеремонно одернутый в искреннем порыве чувств, мистер Джаспер теперь уж стоит неподвижно и только пристально смотрит на своего молодого гостя, пока тот снимает пальто, шляпу и перчатки. Этот пристальный, остро внимательный взгляд, это выражение жадной, требовательной, настороженной и вместе с тем бесконечно нежной привязанности всякий раз появляется на лице Джаспера, когда оно обращено к гостю. И взгляд Джаспера при этом никогда не бывает рассеянным; глаза его прямо-таки впиваются в лицо Эдвина.

– Ну вот, я теперь готов и могу посидеть в моем уголке. А как, Джек, насчет обеда?

Мистер Джаспер распахивает дверь в дальнем конце гостиной: за ней видна еще небольшая комната, где весело горит лампа и стол

уже накрыт белой скатертью. Весьма авантажная, средних лет, женщина расставляет на нем блюда.

– Ах, Джек, молодчинище! – восклицает юноша, хлопая в ладоши. – Но послушай, скажи-ка мне: чей сегодня день рождения?

– Не твой, насколько я знаю, – отвечает тот после минутного раздумья.

– Не мой, насколько ты знаешь? Да уж, конечно, не мой, я представь себе, тоже это знаю. Кискин, вот чей!

Мистер Джаспер, как всегда во время разговора, смотрит прямо на Эдвина; но на сей раз его взгляд каким-то загадочным образом прихватывает по пути и портрет над камином.

– Да, Джек, Кискин! И мы с тобой должны выпить за ее здоровье. Ну, дядя, веди же своего почтительного и голодного племянника к столу.

С этими словами юноша – он и в самом деле еще юноша, почти мальчик, – кладет руку на плечо Джаспера, а тот дружески и весело кладет ему на плечо свою, и так, обнявшись, они входят в столовую.

– Бог мой, да это же миссис Топ! – восклицает Эдвин. – И до чего же похорошела!

– Да вам-то какая печаль, мистер Эдвин? – обрывает его супруга главного жезлоносца. – Авось я могу сама о себе позаботиться!

– Нет, не можете. Для этого вы слишком красивы. Ну, поцелуйте меня разок по случаю дня рождения Киски!

– Ох и показала бы я вам, молодой человек, будь я на месте Киски, как вы ее называете, – заливаясь румянцем, говорит миссис Топ, после того как она подверглась поцелуйному обряду. – Это все ваш дядя виноват, вот что! Он так с вами носится, что вы уж небось думаете – все Киски на свете так и прибегут к вам гурьбой, стоит вам только кликнуть!

– Вы забываете, миссис Топ, – с добродушной усмешкой вставляет Джаспер, усаживаясь за стол, – да и ты, Нэд, видно, забыл, что слова *дядя* и *племянник* здесь под запретом – с общего согласия и по

особому постановлению. Очи всех на тебя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовремении... Аминь.

– Здорово ты это, Джек! Хоть самому настоятелю впору. О чем свидетельствую. Подпись: Эдвин Друд. Разрежь, пожалуйста, жаркое – я не умею.

Так, среди шуток и смеха, под веселую болтовню, начинается обед. Затем наступает молчание, пока гость и хозяин расправляются с едой. Наконец скатерть снимают, и на стол водружается блюдо грецких орехов и графин с золотистым хересом.

– Джек, – снова заговаривает юноша, – скажи, ты правда чувствуешь, что всякое упоминание о нашем родстве мешает дружбе между нами? Я этого не чувствую.

– Видишь ли, Нэд, – отвечает хозяин, – дяди, как правило, бывают гораздо старше племянников, поэтому у меня невольно и возникает такое чувство.

– Как правило! Ну, допустим. Но если разница всего шесть-семь лет, какое это имеет значение? А в больших семьях случается даже, что дядя моложе племянника. Хорошо бы у нас с тобой так было!

– Почему хорошо?

– А я бы тогда наставлял тебя на путь истинный, и уж такой бы я был строгий и неотвязный, как сама забота, что юноше кудри сединами убелила, а старца седого в гроб уложила. Подожди, Джек! Не пей!

– Почему?

– Ты еще спрашиваешь! Пить в день рождения Киски и без тоста за ее здоровье! Итак, за Киску, Джек, и чтобы их было еще много, много! То есть дней ее рождения, я хочу сказать.

Мистер Джаспер ласково кладет ладонь на протянутую руку юноши, как будто касается в этот миг его бесшабашной головы и беззаботного сердца, и в молчании осушает свой бокал.

– Дай Бог ей здравствовать сто лет, и еще сто, и еще годик на придачу! Ура-ура-ура! А теперь, Джек, поговорим немного о Киске.

Ага! Тут две пары щипцов – мне одну, тебе другую. (Крак!) Ну, Джек, так каковы ее успехи?

– В музыке? Более или менее удовлетворительны.

– До чего же ты осторожен в выражениях, Джек! Но я-то и без тебя знаю! Ленился, да? Невнимательна?

– Она все может выучить, когда хочет.

– Когда хочет! В том-то и дело! А когда не хочет?

Крак! (Это щипцы в руках мистера Джаспера.)

– А как она теперь выглядит, Джек?

Снова взгляд мистера Джаспера, обращенный к Эдвину, каким-то образом прихватывает по пути и портрет над камином.

– Точь-в-точь как на твоём рисунке.

– Да, этим произведением я горжусь, – самодовольно говорит юноша; прищурился одним глазом и держа щипцы перед собой, он разглядывает портрет с видом знатока. – Для наброска по памяти очень недурно. Впрочем, неудивительно, что я уловил выражение – мне так часто случалось видеть его у Киски!

Крак! (Это Эдвин Друд.)

Крак! (Это мистер Джаспер.)

– Собственно говоря, – обидчиво говорит Эдвин после краткого молчания, посвященного выковыриванию орехов из скорлупы, – собственно говоря, я его вижу всякий раз, как посещаю Киску. И если его нет на Кискином лице в начале нашего свидания, так уж оно непременно есть к концу.

Крак! Крак! Крак! (Это мистер Джаспер, задумчиво.)

Крак! (Это Эдвин Друд, сердито.)

Снова пауза.

– Что же ты молчишь, Джек?

– А ты, Нэд?

– Нет, в самом деле! Ведь в конце концов это... это...

Мистер Джаспер вопросительно поднимает свои темные брови.

– Разве это справедливо, что в таком деле я лишен выбора? Вот что я тебе скажу, Джек. Если бы я мог выбирать, я бы из всех

девушек на свете выбрал только Киску.

– Но тебе не нужно выбирать.

– То-то и плохо. Чего ради моему покойному отцу и покойному отцу Киски вздумалось обручить нас чуть не в колыбели? Какого... черта, хотел я сказать, но это было бы неуважением к их памяти... Ну, в общем, не могли они, что ли, оставить нас в покое?

– Но, но, дорогой мой! – с мягким упреком останавливает его Джаспер.

– Но, но! Да, тебе хорошо говорить! Ты можешь относиться к этому спокойно! Твою жизнь не расчертили всю наперед, словно топографическую карту. Думаешь, это приятно – сознавать, что тебя силком навязали девушке, которая этого, может быть, вовсе не хочет! А ей приятно, что ли, сознавать, что ее навязали кому-то, может быть, против его желания? И что ей уж никуда больше нет ходу? Ты-то можешь сам выбирать. Для тебя жизнь как плод прямо с дерева, а мне от излишней заботливости подали его отмытый, обтертый, без прелести и аромата... Джек, что ты?

– Ничего. Продолжай. Не останавливайся.

– Я чем-то тебя обидел, Джек?

– Чем ты можешь меня обидеть?

– Господи, Джек, да тебе дурно?... У тебя глаза вдруг стали какие-то мутные...

Мистер Джаспер с насильственной улыбкой протягивает к нему руку – то ли чтобы его успокоить, то ли чтобы отстранить и дать себе время оправиться. Немного погодя он говорит слабым голосом:

– Я принимал опиум от болей – мучительных болей, которые иногда у меня бывают. А сейчас это последствия лекарства – вдруг станет темно-темно, словно я во мгле какой-то или в тумане... Но это пройдет, уже проходит. Не смотри на меня... скорее пройдет.

Испуганный юноша повинуется и переводит глаза на тлеющие угли в камине. Застывший взгляд мистера Джаспера по-прежнему устремлен в огонь и даже как будто становится еще острее и напряженнее; затем крупные капли пота выступают у него на лбу, и с

судорожным вздохом он откидывается на спинку кресла. Племянник нежно и заботливо ухаживает за ним, пока силы к нему не возвращаются. Когда уже все прошло и Джаспер стал опять таким же, как всегда, он кладет руку на плечо Эдвина и говорит неожиданно спокойно и даже чуть насмешливо, словно подтрунивая над простодушным юношей:

– Говорят, в каждом доме есть своя тайна, скрытая от чужих глаз. А ты думал, Нэд, что в моей жизни этого нет?

– Честное слово, Джек, я и сейчас так думаю. Но, конечно, если поразмыслить, то даже в Кискином доме (если бы он у нее был) или в моем (если бы он был у меня)...

– Ты, кажется, начал говорить – только я нечаянно тебя прервал – о том, какая у меня спокойная жизнь. Вдали от суеты и шума, ни хлопот, ни тревог, ни переездов с места на место – сижу в тихом уголке и занимаюсь любимым своим искусством, так что работа для меня вместе с тем удовольствие... Так, что ли?

– Я правда хотел сказать что-то в этом роде. Но ты, Джек, говоря о себе, поневоле многое опускаешь, что я бы еще добавил. Например, я упомянул бы о том уважении, которым ты пользуешься здесь, как регент или канонический певчий (или как там называется твоя должность в соборе); о славе, которую ты снискал тем, что прямо чудеса делаешь с этим хором; о том независимом положении, которое ты сумел создать себе в этом смешном старом городишке; о твоём педагогическом таланте – ведь даже Киска, которая не любит учиться, говорит, что такого учителя у нее никогда еще не бывало...

– Да. Я видел, куда ты гнешь. Я все это ненавижу.

– Ненавидишь? (С крайним изумлением.)

– Ненавижу. Меня душит однообразие этой жизни. Ты слышал пение в нашем соборе? Как ты его находишь?

– Чудесным! Божественным!

– Мне оно по временам кажется почти дьявольским. Мой собственный голос, отдаваясь под сводами, словно насмехается

надо мной, словно говорит мне: вот так и будет, и сегодня, и завтра, и до конца твоих дней – все одно и то же, одно и то же... Ни один монах, когда-то денно и ночью бормотавший молитвы в этом мрачном закутке, не испытывал, наверно, такой иссушающей скуки, как я. Он хоть мог отвести душу тем, что творил демонов из дерева или камня. А мне что остается? Творить их из собственного сердца?

– А я-то думал, что ты нашел свое место в жизни, – с удивлением говорит Эдвин Друд и, подавшись вперед в своем кресле, кладет руку на колено Джаспера и сочувственно заглядывает ему в лицо.

– Я знаю, что ты так думал. Все так думают.

– Да, пожалуй, – продолжает Эдвин, как бы размышляя вслух. – Киска тоже...

– Когда она тебе это говорила?

– В мой последний приезд. Ты же помнишь, когда я здесь был. Три месяца тому назад.

– Что именно она сказала?

– Да ничего особенного – только, что начала брать у тебя уроки и что ты прямо создан быть учителем, это твое призвание.

Младший из собеседников бросает взгляд на портрет над камином. Старшему это не нужно: он видит его, не отрывая глаз от лица Эдвина.

– Ну что ж, милый мой Нэд, – говорит затем Джаспер спокойно и даже весело, – значит, надо мне покориться своему призванию. Менять уже поздно. А что там в душе, снаружи не видать. Только это, Нэд, между нами.

– Я свято сохраню твою тайну, Джек.

– Тебе я доверил ее, потому что...

– Я понимаю. Потому что мы с тобой друзья и ты любишь меня и веришь мне так же, как я люблю тебя и тебе верю. Руку, Джек. Нет, обе.

Они стоят, глядя друг другу в глаза. И, сжимая руки племянника, дядя говорит:

– Теперь ты знаешь, что даже ничтожного певчего и жалкого учителя музыки может терзать честолюбие, неудовлетворенность, какие-то стремления, мечты – не знаю уж, как это назвать...

– Да, милый Джек.

– И ты не забудешь?

– Как я могу забыть то, о чем ты говорил с таким чувством?

– Хорошо. Пусть это послужит тебе предостережением.

Он отпускает руки юноши и, отступив на шаг, словно пронзает его взглядом. Тот мгновение стоит молча, вдумываясь в смысл этих последних слов. Потом говорит, видимо, тронутый:

– Джек, я, конечно, довольно-таки пустой, легкомысленный малый, и голова у меня не из лучших. Ну ладно, я еще молод – стану старше, может быть, поумнею. Но есть все-таки во мне что-то, способное понимать и чувствовать, и поверь, я понимаю и могу оценить, с каким бескорыстием, не щадя себя, ты обнажил передо мною свою душу для того только, чтобы предостеречь меня от грозящей мне опасности.

Мистер Джаспер вдруг весь застывает, словно каменное изваяние, – даже дыхание, кажется, замерло у него в груди.

– Тебе это нелегко далось, Джек, я видел: ты был взволнован и совсем не похож на себя. Я всегда знал, что ты привязан ко мне, но даже я не ожидал с твоей стороны такой готовности принести себя в жертву ради моего блага.

Мистер Джаспер опять становится человеком из плоти и крови – это совершается сразу, без всякого перехода, – он смеется, пожимает плечами, машет рукой.

– Нет, Джек, не умаляй свое чувство; пожалуйста, не надо; я говорю от всего сердца. Я не сомневаюсь, что это болезненное состояние духа, которое ты так ярко мне описал, в самом деле очень мучительно и делает жизнь несносной. Но я хочу успокоить тебя; по моему, мне оно не угрожает. Меньше чем через год Киска выйдет из своего пансиона и станет миссис Эдвин Друд. Я уеду на Восток – там уж готово для меня место инженера – и увезу ее с собой. Сейчас мы

с ней иногда ссоримся, ну это неизбежно, потому что какой уж может быть особенный пыл в любви, если все в ней predetermined заранее. Но когда нас наконец обвенчают и податься уж будет некуда, я уверен, мы с ней чудно поладим. Одним словом, Джек, как в той песенке, которую, помнишь, я несколько вольно цитировал за обедом (а кто же лучше знает старинные песни, чем ты!): «Я буду петь, жена плясать, и жизнь в веселье протекать». В том, что Киска – красавица, нет сомнений, а когда она станет еще и послушной – слышите, мисс Дерзилка? – он снова обращается к наброску над камином, – тогда я сожгу этот смешной портрет и напишу для твоего учителя музыки другой!

Пока Эдвин говорит, мистер Джаспер, подпершись рукой, с задумчиво благосклонным видом смотрит на него, внимательно следя за каждым его жестом, вслушиваясь в каждую его интонацию. Даже когда Эдвин умолк, мистер Джаспер продолжает сидеть в той же позе, словно зачарованный; кажется, он не в силах оторвать взгляд от этого оживленного юношеского лица, которое так любит.

Потом он говорит с чуть заметной улыбкой:

– Значит, ты не хочешь, чтобы тебя предостерегали?

– Это не нужно, Джек.

– Значит, все мои предостережения тщетны?

– Я не хотел бы слышать их от тебя, Джек. Во-первых, никакая опасность мне не угрожает. А во-вторых, мне не нравится, что ты ставишь себя в такое положение.

– Пойдем прогуляемся по кладбищу?

– С удовольствием. Только я должен забежать на минутку в Женскую Обитель, оставить там пакетик для Киски. Всего лишь перчатки: столько пар, сколько ей сегодня исполнилось лет. Поэтично, да?

Мистер Джаспер, все еще не меняя позы, откликается:

– От милого все мило, Нэд.

– Вот он, пакетик, в кармане моего пальто. Но надо передать его сегодня, а то вся поэзия пропадет. Навещать пансионерок так

поздно не разрешается, но оставить пакет можно.

Мистер Джаспер встает, стряхнув с себя оцепенение, и оба выходят.

Глава III

Женская обитель

По некоторым причинам, которые станут ясны из дальнейшего, мне придется дать этому городку со старинным собором вымышленное название. Пусть это будет хотя бы Клойстергэм. Городок этот очень древний, и, возможно, уже друиды знали его под каким-то, ныне забытым, именем; римляне дали ему другое, саксы третье, нормандцы четвертое; так что одним названием больше или меньше не составит разницы для его пыльных летописей.

Да, старинный городок этот Клойстергэм и совсем неподходящее место для тех, кого влечет к себе шумный свет. Тихий городок, словно бы неживой, весь пропитанный запахом сырости и плесени, исходящим от склепов в подземельях под собором; да и по всему городу то тут, то там виднеются следы древних монастырских могил; так что клойстергэмские ребяташки разводят садики на останках аббатов и аббатис и лепят пирожки из праха монахов и монахинь, а пахарь на ближнем поле оказывает государственным казначеям, епископам и архиепископам те же знаки внимания, какие людоед в детской сказке намеревался оказать своему незваному гостю – а именно: «Смолоть на муку его кости и хлеба себе напечь».

Сонный городок этот Клойстергэм: здешние жители, видимо, полагают, что раз город их такой древний, то все перемены для него уже в прошлом и больше никаких перемен не будет. Странное, казалось бы, рассуждение, и не слишком логичное, если вспомнить историю предшествующих столетий, однако такая непоследовательность вещь нередкая, и даже в самой глубокой древности люди склонны были тешить себя подобными надеждами. Такая нерушимая тишина царит на улицах Клойстергэма (хотя малейший звук будит здесь чуткое эхо), что в летний полдень даже парусиновые навесы над окнами лавок не дерзают шелохнуться под

дуновением южного ветра; а опаленный солнцем бродяга, мимоходом забредший сюда, изумленно озирается по сторонам и убыстряет шаг, торопясь выбраться за пределы этого города с его угнетающим благолепием. Сделать это нетрудно, ибо Клойстергэм, в сущности, состоит из одной-единственной улицы – по ней входят в город и по ней из него выходят; остальное все тесные, заводящие в тупик проулки с красующимися по самой середине колодезными насосами; только два здания стоят здесь особняком – собор за высокой своей оградой да приютившийся в тенистом углу среди мощеного двора молитвенный дом общины квакеров, по архитектуре и по окраске весьма похожий на чепчик квакерши.

Одним словом, Клойстергэм со своим хриплым соборным колоколом, со своими хриплыми грачами, реющими в вышине над соборной башней, и с другими своими грачами, еще более хриплыми, но не столь заметными, восседающими в креслах внизу в соборе, – это город, который принадлежит иной, уже далекой от нас эпохе. Остатки прошлого – развалины часовни, посвященной какому-нибудь святому, здания, где заседал капитул женской обители и мужского монастыря, – нелепо и уродливо вклиниваются здесь во все созданное позже; к полуразрушенным стенам пристроены новые дома, каменные обломки торчат, всему мешая, среди разросшихся вокруг садов; и точно так же в сознании многих обитателей Клойстергэма крепко угнездились обветшалые и отжившие понятия. Все здесь в прошлом. Даже единственный в городе ростовщик давно уже не выдает ссуд и только тщетно выставляет для продажи невыкупленные залоги, среди которых самое ценное – это несколько старых часов с бледными и мутными, словно раз навсегда запотевшими, циферблатами да еще почерневшие и разболтанные серебряные щипчики для сахара и пять-шесть разрозненных томов, должно быть, очень мрачного содержания. Единственное, что здесь радует глаз, как свидетельство победоносной и буйной жизни, это клойстергэмские сады; их много, и они процветают; даже влачащий жалкое существование местный

театр имеет у себя на задах крохотный садик; и когда Сатана по ходу действия проваливается со сцены в преисподнюю, он находит приют на этом мирном клочке земли – под сенью красных бобов или на куче устричных раковин, смотря по сезону.

В самом центре Клойстергэма находится Женская Обитель – старый-престарый кирпичный дом, в котором, говорят, некогда жили монахини, откуда и пошло его название. На тяжелых дверях прибита старательно начищенная медная дощечка с надписью: «Пансион мисс Твинклтон для молодых девиц». Фасад у этого дома такой старый и облупленный, а медная дощечка сияет так ярко, что все вместе приводит на память дряхлого щеголя с новеньким блестящим моноклем в слепом глазу.

Возможно, что монахини былых времен, более смирные нравом, чем нынешнее упрямое поколение, в самом деле когда-то проходили неслышной поступью по коридорам этого дома, покорно склоняя свои отягченные думой головы, дабы избежать столкновения с низко нависшими потолочными балками; возможно, что они сиживали здесь в глубоких амбразурах окон, перебирая четки ради умерщвления плоти, вместо того чтобы сделать себе из них бусы для украшения своей юности; возможно даже, что две или три были замурованы живыми в стенных нишах или под каменным выступом фронтона за то, что в их жилах бродила еще та самая закваска, с помощью которой хлопотливая мать-природа доныне поддерживает жизнь на земле, – все это возможно, но кому до этого дело? Разве только привидениям (если таковые здесь водятся), а в полугодовых балансах мисс Твинклтон мы не найдем упоминания об этих древних обитательницах ее дома, ибо их нельзя включить ни в одну статью дохода – ни как полных пансионеров, ни как приходящих. И у той дамы, что за скромную (а точнее сказать, мизерную) плату просвещает воспитанниц по части поэзии, в списке избранных стихотворений нет ни одного, в котором затрагивалась бы столь бесприбыльная тема.

Известно, что у человека, который часто напивался пьян или неоднократно подвергался гипнозу, возникают в конце концов два разных сознания, не сообщающихся между собой, – как если бы каждое существовало отдельно и было непрерывным, а не сменялось по временам другим (так, например, если я спрятал часы, когда был пьян, в трезвом виде я не знаю, где они спрятаны, и узнаю, только когда опять напьюсь); так и жизнь мисс Твинклтон протекает как бы в двух отдельных планах или двух фазах существования. Каждый вечер, как только молодые девицы отойдут ко сну, мисс Твинклтон подкручивает свои локоны, слегка подводит глаза и превращается в совсем другую мисс Твинклтон, гораздо более легкомысленную и совершенно незнакомую ее пансионеркам. Каждый вечер, в один и тот же час, мисс Твинклтон возобновляет прерванную накануне беседу, посвященную местным любовным историям (о коих днем мисс Твинклтон даже не подозревает) и воспоминаниям об одном счастливом лете, проведенном мисс Твинклтон на курорте Тенбридж Уэллс, – именно о том лете, когда некий безупречный джентльмен (которого мисс Твинклтон в этой фазе своего существования сострадательно именует – «этот безумец, мистер Портерс») поверг к ее ногам свое сердце (опять-таки факт, о котором дневная мисс Твинклтон имеет не больше понятия, чем гранитная колонна). Собеседницей мисс Твинклтон в обеих фазах ее существования является некая миссис Тишер – вдова с вкрадчивыми манерами и приглушенным голосом, с склонностью испускать вздохи и жаловаться на боли в пояснице; эта почтенная дама, сумевшая равно приспособиться как к дневной, так и к ночной мисс Твинклтон, занимает в ее пансионе должность кастелянши, но старается внушить молодым девицам, что знавала лучшие дни. Вероятно, эти туманные намеки и породили господствующее среди служанок и передаваемое ими из уст в уста убеждение, что покойный мистер Тишер был парикмахером.

В пансионе есть общая любимица – мисс Роза Буттон, которую все, конечно, зовут Розовый Бутон, – очень хорошенькая, очень юная

и очень своенравная. Молодые девицы питают к ней живейший интерес, ибо им известно, что по воле родителей, должным образом записанной в завещании, для нее уже избран супруг, и опекун Розы обязан, так сказать, из рук в руки передать ее этому будущему супругу, когда тот достигнет совершеннолетия. Подобные романтические настроения среди воспитанниц не встречают сочувствия со стороны мисс Твинклтон в дневной фазе ее существования, и она уже не раз пыталась их умерить, сокрушенно покачивая головой за спиной мисс Розы – очень хорошенькой стройной спинкой – и всем своим видом показывая, что глубоко сожалеет о печальной участи обреченной жертвы. Но результат ее поучений всегда был столь ничтожен – быть может, незримое вмешательство «этого безумца, мистера Портерса» лишало их убежденности, – что вечером в спальнях девицы единодушно постановляли: «До чего же противная притворяшка эта старая мисс Твинклтон!»

Всякий раз как этот предназначенный супруг наносит очередной визит Розовому Бутончику, вся Женская Обитель приходит в волнение. (Девицы твердо убеждены, что он по закону имеет неоспоримое право на свидания с Розой, и если бы мисс Твинклтон вздумала ему препятствовать, ее бы немедленно арестовали и выслали в колонии.) В тот час, когда ожидают его звонка у ворот, и тем более в ту минуту, когда звонок раздается, все молодые девицы, которые могут под каким-нибудь предлогом выглянуть в окошко, уже висят на подоконниках; а те, которые играют на фортепиано, сбиваются с такта; а на уроке французского языка штрафной значок «за невнимание» переходит из рук в руки, словно круговая чаша во время пирушки.

На другой день после того как в домике над соборными воротами происходил описанный выше обед с двумя участниками, у дверей Женской Обители раздается звонок, как всегда порождая внутри смятение.

– Мистер Эдвин Друд к мисс Розе, – докладывает старшая горничная.

Мисс Твинклтон, приняв назидательно-скорбный вид, обращается к юной жертве со словами: «Вы можете сойти вниз, дорогая». Мисс Буттон направляется к лестнице, провожаемая горящими любопытством взглядами.

Мистер Эдвин Друд дожидается в собственной гостиной мисс Твинклтон. Это уютная комнатка, в которой ничто не говорит о науке, кроме двух глобусов, один из коих изображает Землю, а другой – небесный свод. Эти выразительные приборы должны внушать родителям и опекунам убеждение, что мисс Твинклтон даже в часы отдыха готова в любой момент превратиться в некое подобие Вечного Жида и блуждать по земному шару или возноситься в небеса в поисках полезных знаний для своих воспитанниц.

Младшая горничная, недавно поступившая на место и еще не выдавшая молодого джентльмена, с которым помолвлена мисс Роза, пытается теперь ознакомиться с ним сквозь щелку неплотно притворенной двери. Заслышав шаги, она отскакивает с виноватым видом и торопливо сбегает по черной лестнице как раз в ту минуту, когда прелестное видение с наброшенным на голову шелковым фартучком проскальзывает в гостиную.

– Господи, как глупо! – произносит видение, останавливаясь и отступая на шаг назад. – Пожалуйста, не делай этого, Эдди!

– Не делать чего, Роза?

– Не подходи ко мне близко. Это так нелепо!

– Что нелепо, Роза?

– Все! Нелепо, что я обручена чуть не с колыбели; нелепо, что девицы и служанки всюду шныряют за мной, словно мыши под обоями; а всего нелепей, что ты пришел!

Судя по голосу, видение в эту минуту держит пальчик во рту.

– Ты что-то не очень любезно встречаешь меня, Киска!

– Подожди минутку, я буду любезней, только сейчас еще не могу. Как ты себя чувствуешь? (Это сказано очень сухо.)

– Я лишен возможности ответить, что всегда чувствую себя хорошо, когда тебя вижу, поскольку в данную минуту я тебя не вижу.

В ответ на этот вторичный упрек из-под фартучка на мгновение выглядывает блестящий черный глаз с капризно насупленной бровкой, но он тут же скрывается, и безликое видение восклицает:

– Ах, боже мой, ты остригся! Половину волос отрезал!

– Кажется, я бы лучше сделал, если бы голову себе отрезал, – говорит Эдвин, ероша помянутые волосы, с досадливым взглядом в сторону зеркала, и нетерпеливо топает ногой. – Что, мне уйти?

– Нет, пока еще не надо, Эдди. А то девицы станут спрашивать, почему ты ушел.

– Слушай, Роза, скажи наконец – намерена ты снять эту тряпку со своей взбалмошной головки и поздороваться со мной как следует?

Фартучек падает, из-под него появляется на свет прелестное детское личико, и обладательница его говорит:

– Здравствуй, Эдди, как поживаешь? Ну? Кажется, это достаточно любезно? Дай я пожму тебе руку. А поцеловать не могу, потому что у меня во рту леденец.

– Ты совсем не рада меня видеть, Киска?

– Ах нет, я ужасно рада. Пойди скорее сядь – мисс Твинклтон!

Эта почтенная дама имеет обычай во время свиданий жениха с невестой через каждые три минуты наведываться в гостиную, либо собственной персоной, либо в лице миссис Тишер; совершая эти жертвоприношения на алтарь Приличий, она всегда делает вид, что ищет какую-то забытую здесь вещь. На сей раз она грациозно проплывает взад и вперед по гостиной, роняя на ходу:

– Здравствуйте, мистер Друд. Очень приятно. Извините за беспокойство. А, вот где мой пинцет. Благодарю вас.

– Я получила вчера перчатки, Эдди. Они мне очень понравились. Просто душки!

– Ну и то хорошо, – смягчаясь, но еще несколько ворчливо отвечает жених. – Я человек скромный и благодарен за малейшее поощрение. А как ты провела свой день рождения, Киска?

– Чудно! Все мне что-нибудь дарили. И у нас было угощение. А вечером бал.

– Вот как. Угощение, а вечером бал. И ты не огорчалась моим отсутствием? Тебе и без меня было весело?

– Ах, очень! – с наивной непосредственностью восклицает Роза; ей и в голову не приходит хотя бы из вежливости выразить сожаление.

– Гм! А какое было угощение?

– Пирожное, апельсины, желе и креветки.

– А кавалеры были на балу?

– Мы, разумеется, танцевали друг с дружкой, сэр. Но некоторые девицы изображали своих братьев. Ах, как было смешно!

– А кто-нибудь изображал...

– Тебя? Ну конечно! – Роза звонко хохочет. – Уж об этом-то они раньше всего подумали!

– Надеюсь, она хорошо играла свою роль, – с некоторым сомнением говорит Эдвин.

– Чудно! Замечательно! Я, конечно, ни за что не хотела танцевать с тобой.

Эдвин отказывается понять неизбежность этого факта и спрашивает, не будет ли Роза так добра объяснить почему?

– Ну, потому, что ты мне ужас как надоел, – быстро отвечает Роза, но, видя выражение обиды на его лице, тотчас умиротворяюще добавляет: – Эдди, милый, я ведь тебе тоже ужас как надоела.

– Разве я когда-нибудь это говорил?

– Говорил? Нет, ты никогда не говорил, только показывал. Ах, как она хорошо это изобразила! – восклицает Роза, снова приходя в восторг от сценических талантов своего поддельного жениха.

– Насколько я понимаю, эта девица большая нахалка, – говорит Эдвин Друд. – Итак, Киска, ты в последний раз встречала свой день рождения в этом старом доме.

– Ах!.. Да!.. – со вздохом откликается Роза и, сложив ручки и потупив глаза, грустно покачивает головой.

– Ты как будто об этом жалеешь, Роза?

– А мне и правда жаль... Жаль этот бедный старый дом... Мне все кажется – он будет скучать по мне, когда я уеду так далеко... такая молодая...

– Роза! Так, может, нам отставить все это дело?

Она кидает на него быстрый, пронизательный взгляд; потом снова качает головой, вздыхает и потупляет глаза.

– Как это понимать, Киска? Что мы оба должны смириться?

Она опять кивает, молчит минуту и вдруг выпаливает:

– Ты же сам знаешь, Эдди, что мы *должны* пожениться и свадьба должна быть здесь, а то девицы будут так разочарованы!

Лицо ее жениха выражает в эту минуту не столько любовь, сколько жалость и к ней и к себе. Потом он заставляет себя улыбнуться и говорит:

– Хочешь, пойдём погуляем, милая Роза?

Милая Роза не знает, хочет она этого или нет; но вдруг ее личико светлеет, утрачивая столь несвойственное ей и потому несколько комическое выражение озабоченности, и она с живостью говорит:

– Хорошо, Эдди, пойдём! И знаешь что? Ты притворись, будто помолвлен с другой, а я притворюсь, будто ни с кем не помолвлена, тогда мы не будем ссориться.

– Ты думаешь, это поможет, Роза?

– Поможет, поможет, я знаю! Тсс! Сделай вид, что смотришь в окно – миссис Тишер!..

Миссис Тишер, которой, по случайному совпадению, именно в эту минуту что-то понадобилось в гостиной, величаво делает тур по комнате, сопровождаемая зловещим шелестом, подобно легендарному призраку старой герцогини в шелковых юбках.

– Надеюсь, вы здоровы, мистер Друд, впрочем, незачем и спрашивать, довольно посмотреть на вас. Не хотелось бы вас беспокоить, но тут был ножик для разрезания бумаги... Ах, вот, благодарю вас!.. – И она исчезает со своей добычей.

– И еще одно, пожалуйста, сделай для меня, Эдди, – говорит Роза. – Когда мы выйдем на улицу, я пойду по наружной стороне тротуара, а ты иди у самой стены дома – прямо-таки прижмись к ней, прилипни!

– Охотно, Роза, если это доставит тебе удовольствие. Но можно спросить, почему?

– Ну потому, что я не хочу, чтобы девицы тебя видели.

– Гм! Сегодня, правда, хорошая погода, но, может быть, мне раскрыть над собой зонтик?

– Не говорите глупостей, сэр. – И, передернув плечиком, она капризно добавляет: – Ты сегодня не в лаковых туфлях.

– А может быть, твои девицы этого не заметят, даже если увидят меня? – спрашивает Эдвин, с внезапным отвращением поглядывая на свои туфли.

– Они все замечают, сэр. И тогда я знаю, что будет. Сейчас же какая-нибудь постарается меня уколоть – они ведь очень дерзкие! – скажет, что ни за что не обручилась бы с человеком, который не носит лаковых туфель. Берегись! Мисс Твинклтон. Я сейчас попрошу у нее разрешения.

Голос этой тактичной дамы уже слышен в коридоре, где она непринужденно светским тоном осведомляется у несуществующего собеседника: «Ах да? Вы в самом деле видели мою перламутровую коробочку для пуговиц на рабочем столике в моей гостиной?»

Она милостиво дает разрешение на прогулку, и юная пара покидает Женскую Обитель, приняв все необходимые меры для сокрытия от глаз молодых девиц столь существенного изъяна в обуви мистера Эдвина Друда и для восстановления душевного спокойствия будущей миссис Эдвин Друд.

– Куда мы пойдем, Роза?

Роза отвечает:

– Сперва в лавочку, где продают рахат-лукум.

– Рахат что?..

– Рахат-лукум. Это турецкие сладости, сэр. Да ты, я вижу, совсем необразованный. Какой же ты инженер, если даже этого не знаешь?

– Почему я должен знать про какой-то рахат-лукум?

– Потому что я его очень люблю. Ах да, я забыла, ты ведь обручен с другой. Ну тогда можешь не знать, ты не обязан.

Помрачневшего Эдвина ведут в лавочку, где Роза совершает свою покупку и, предложив Эдвину отведать рахат-лукума (что он возмущенно отвергает), сама принимается с видимым наслаждением угощаться; предварительно сняв и скатав в комочек пару крохотных розовых перчаток, похожих на розовые лепестки, и время от времени поднося к румяным губкам свои крохотные розовые пальчики, и облизывая сахарную пудру, попавшую на них от соприкосновения с рахат-лукумом.

– Ну, Эдди, будь же паинькой, давай разговаривать. Так, значит, ты обручен?

– Значит, обручен.

– Она хороша собой?

– Очаровательна.

– Высокая?

– Очень высокая. (Роза маленького роста.)

– Ага, значит, долговязая, как цапля, – кротким голоском вставляет Роза.

– Извините, ничего подобного. – Дух противоречия пробуждается в Эдвине. – Она то, что называется видная женщина. Тип классической красоты.

– С большим носом? – невозмутимо уточняет Роза.

– Да уж, конечно, не с маленьким, – следует быстрый ответ. (У Розы носик совсем крохотный.)

– Ну да, длинный бледный нос с красной шишечкой на конце. Знаю я эти носы, – говорит Роза, удовлетворенно кивая и продолжая безмятежно лакомиться рахат-лукумом.

– Нет, ты не знаешь этих носов, – возражает ее собеседник с некоторым жаром. – У нее нос совсем не такой.

– Он не бледный?

– Нет. – В голосе Эдвина звучит твердое намерение ни с чем не соглашаться.

– Значит, красный? Фу, я не люблю красных носов. Правда, она может его припудрить.

– Она никогда не пудрится. – Эдвин все более разгорячается.

– Никогда не пудрится? Вот глупая! Скажи, она и во всем такая же глупая?

– Нет. Ни в чем.

После молчания, во время которого лукавый черный глазок искоса следит за Эдвином, Роза говорит:

– И эта примерная девица, конечно, очень довольна, что ее увезут в Египет? Да, Эдди?

– Она проявляет разумный интерес к достижениям инженерного искусства, в особенности когда оно призвано в корне перестроить всю жизнь малоразвитой страны.

– Да неужели? – Роза пожимает плечиками со смешком, выражающим крайнее изумление.

– Скажи, пожалуйста, Роза, – осведомляется Эдвин, величественно опуская взор к воздушной фигурке, скользящей рядом с ним, – скажи, пожалуйста, ты имеешь какие-нибудь возражения против того, что она питает подобный интерес?

– Возражения? Милый мой Эдди! Но ведь она же, наверно, ненавидит котлы и всякое такое?

– Она не такая идиотка, чтобы ненавидеть котлы, за это я ручаюсь, – уже с сердцем отвечает Эдвин. – Что же касается ее взглядов на «всякое такое», то тут я ничего не могу сказать, так как не понимаю, что это значит.

– Ну там... арабы, турки, феллахи... она их ненавидит, да?

– Нет. Даже и не думает.

– Ну а пирамиды? Уж их-то она наверняка ненавидит? Сознайся, Эдди!

– Не понимаю, почему она должна быть такой маленькой... нет, большой дурочкой и ненавидеть пирамиды?

– Ох, ты бы послушал, как мисс Твинклтон про них долдонит, – Роза кивает головкой, по-прежнему с упоением смакуя осыпанные сахарной пудрой липкие комочки, – тогда бы ты не спрашивал! А что в них интересного, просто старые кладбища! Всякие там Изиды и абсиды, Аммоны и фараоны! Кому они нужны? А то еще был там Бельцони^[3], или как его звали, – его за ноги вытащили из пирамиды, где он чуть не задохся от пыли и летучих мышей. У нас все девицы говорят, так ему и надо, и пусть бы ему было еще хуже, и жаль, что он совсем там не удушился!

Юноша и девушка скучливо бродят по аллеям в ограде собора – они идут рядом, но уже не под руку, – и время от времени то он, то она останавливается и рассеянно ворошит ногой опавшие листья.

– Ну! – говорит Эдвин после долгого молчания. – Как всегда. Ничего у нас с тобой не получается, Роза.

Роза вскидывает головку и говорит, что и не хочет, чтобы получалось.

– А вот это уж нехорошо, Роза, особенно если принять во внимание...

– Что принять во внимание?

– Если я скажу, ты опять рассердишься.

– Я вовсе не сердилась, это ты сердился. Не будь несправедливым, Эдди.

– Несправедливым! Я! Это мне нравится!

– Ну а мне это не нравится, и я так прямо тебе и говорю. – Роза обиженно надувает губки.

– Но послушай, Роза, рассуди сама! Ты только что пренебрежительно отзывалась о моей профессии, о моем месте назначения...

– А ты разве собираешься захорониться в пирамидах? – перебивает Роза, удивленно выгибая свои тонкие брови. – Ты мне

никогда не говорил. Если собираешься, надо было меня предупредить. Я не могу знать твоих намерений.

– Ну полно, Роза, ты же отлично понимаешь, что я хотел сказать.

– А в таком случае, зачем ты приплел сюда свою противную красноносую великаншу? И она будет, будет, будет пудрить себе нос! – запальчиво кричит Роза в комической вспышке упрямства.

– Почему-то в наших спорах я всегда оказываюсь неправым, – смиряясь, говорит со вздохом Эдвин.

– А как ты можешь оказаться правым, если ты всегда не прав? А что до этого Бельцони, так он, кажется, уже умер – надеюсь, во всяком случае, что умер, – и я не понимаю, какая тебе обида в том, что его тащили за ноги и что он задохся?

– Пожалуй, нам уже пора возвращаться, Роза. Не очень приятная вышла у нас прогулка, а?

– Приятная?.. Ужасная, отвратительная! И если я, как только вернусь, сейчас же убегу наверх и буду плакать, плакать, плакать, так что и на урок танцев не смогу выйти, так это будет твоя вина, имей в виду!

– Роза, милая! Ну разве мы не можем быть друзьями?

– Ах! – восклицает Роза, трясая головой и в самом деле уже заливаясь слезами. – Если б мы могли быть просто друзьями! Но нам нельзя – и от этого все у нас не ладится. Эдди, я еще так молода, за что мне такое большое горе?.. Иногда у меня бывает так тяжело на сердце! Не сердись, я знаю, что и тебе нелегко. Насколько было бы лучше, если б мы не обязаны были пожениться, а только могли бы, если б захотели! Я сейчас говорю серьезно, я не дразню тебя. Попробуем хоть на этот раз быть терпеливыми, простим друг другу, если кто в чем виноват!

Обезоруженный этим проблеском женских чувств в избалованном ребенке – хотя и слегка задетый заключенным в ее словах напоминанием о том, что он насильственно ей навязан, – Эдвин молча смотрит, как она плачет и рыдает, обеими руками прижимая платок к лицу; потом она немного успокаивается; потом, изменчивая,

как дитя, уже смеется над собственной чувствительностью. Тогда Эдвин берет ее под руку и ведет к ближайшей скамейке под вязами.

– Милая Киска! Давай поговорим по душам. Я мало что знаю, кроме своего инженерного дела – да и в нем-то, может, не бог знает как сведущ, – но я всегда стараюсь поступать по совести. Скажи мне, Киска: нет ли кого-нибудь... ведь это может быть... право, не знаю, как и приступить к тому, что я хочу сказать... Но я должен, прежде чем мы расстанемся... одним словом, нет ли какого-нибудь другого молодого...

– Нет, Эдди, нет! Это очень великодушно с твоей стороны, что ты спрашиваешь, но – нет, нет, нет!

Скамейка, на которую они сели, находится под самыми окнами собора, и в это мгновение широкая волна звуков – орган и хор – пронесется над их головами. Оба сидят и слушают, как растет и вздымается торжественный напев; в памяти Эдвина вновь оживают признания, услышанные им прошлой ночью, и он сизнова удивляется: как мало общего между этой музыкой и мучительным разладом в душе того человека!

– Мне кажется, я различаю голос Джека, – тихо говорит он в связи с промелькнувшими в его голове мыслями.

– Эдди! Уведи меня отсюда! – вдруг умоляюще говорит Роза и быстрым, легким движением касается его руки. – Они все сейчас выйдут, уйдем скорее! О, как гремит этот аккорд! Но не надо слушать, уйдем! Скорей, скорей!

Ее торопливость ослабевает, как только они оказываются за оградой собора. Теперь они идут под руку, размеренно и степенно, вдоль по Главной улице к Женской Обители. У ворот Эдвин оглядывается – улица пуста – и наклоняется к Розовому Бутончику.

Но она отстраняется, смеясь, – и сейчас она опять лишь дитя, беззаботная школьница.

– Нет, Эдди! Меня нельзя целовать, я слишком липкая! Но дай руку, я надышу тебе в нее поцелуй!

Он протягивает ей руку. Она подносит ее к губам – легкое дыхание касается его сложенных горсткой пальцев; потом, все еще держа его руку, она пытливо заглядывает ему в ладонь.

– Ну, Эдди, скажи, что ты там видишь?

– Что я могу увидеть, Роза?

– А я думала, вы, египтяне, умеете гадать по руке – только посмотрите на ладонь и сразу видите все, что будет с человеком. Ты не видишь там нашего счастливого будущего?

Счастливого будущее? Быть может! Но достоверно одно: что настоящее никому из них не кажется счастливым в тот момент, когда растворяются и снова затворяются тяжелые двери, и она исчезает в доме, а он медленно уходит прочь.

Глава IV

Мистер Сапси

Если согласиться с общепринятым взглядом на осла, как на воплощение самодовольной тупости и чванства, – взглядом скорее традиционным, чем справедливым, как и многие другие наши взгляды, – то самый отъявленный осел во всем Клойстергэме это, без сомнения, тамошний аукционист, мистер Томас Сапси.

Мистер Сапси подражает в одежде настоятелю; и ему иной раз кланялись по ошибке на улице, принимая его за настоятеля; и даже, случалось, величали его «ваше преосвященство», в уверенности, что это сам епископ, нежданно прибывший в Клойстергэм без своего капеллана. Всем этим мистер Сапси очень гордится, равно как и своим голосом и своими манерами. Он даже пытался (продавая с аукциона земельную собственность) возглашать цены этак слегка нараспев, чтобы еще больше походить на духовное лицо. А когда мистер Сапси со своего возвышения объявляет о закрытии торгов, он всегда при этом воздевает вверх руки, словно бы благословляя собравшихся маклеров, и проделывает это так эффектно, что куда уж до него нашему скромному и благовоспитанному настоятелю.

У мистера Сапси много поклонников. Да что там – подавляющее большинство клойстергэмцев, включая и не верующих в его мудрость, подтвердят, если их спросить, что мистер Сапси является украшением их родного города. Он обладает многими способствующими популярности качествами: он напыщен и глуп; говорит плавно, с оттяжкой; ходит важно, с развальцем; а при разговоре все время делает плавные округлые жесты, словно собирается совершить конфирмацию над своим собеседником. Лет ему за пятьдесят, а пожалуй, ближе к шестидесяти; у него круглое брюшко, отчего по жилету разбегаются поперечные морщинки; по слухам, он богат; на выборах всегда голосует за кандидата,

представляющего интересы состоятельных и респектабельных кругов; и, кроме того, он непоколебимо уверен, что с тех пор, как он был ребенком, только он один вырос и стал взрослым, а все прочие и доныне несовершеннолетние; так чем же может быть эта набитая трухой голова, как не украшением Клойстергэма и местного общества?

Мистер Сапси проживает в собственном доме, на Главной улице против Женской Обители. Дом этот относится к той же эпохе, что и Женская Обитель, и лишь кое-где был впоследствии переделан на более современный лад – по мере того как неуклонно вырождающиеся поколения стали воздух и свет предпочитать чуме и тифозной горячке. Над входной дверью красуется вырезанная из дерева человеческая фигура в половину натуральной величины, долженствующая изображать отца мистера Сапси в тоге и завитом парике, занятого продажей с аукциона. Смелость замысла и естественное положение мизинца и молотка на столике неоднократно вызывали восхищение зрителей.

В данную минуту мистер Сапси восседает в своей унылой гостиной, выходящей окнами на мощеный задний двор: дальше виден сад, отделенный изгородью. В камине пылает огонь, что, пожалуй, еще слишком рано по времени года, но очень приятно в такой прохладный осенний вечер; мистер Сапси может позволить себе подобную роскошь. На столе перед камином стоит бутылка портвейна, а вокруг по стенам расположились характерные для мистера Сапси предметы: его собственный портрет, часы с восьмидневным заводом и барометр. Они характерны для мистера Сапси потому, что себя он противопоставляет всему остальному человечеству, барометр – погоде, и часы – времени.

Сбоку от мистера Сапси находится конторка с письменными принадлежностями и на ней исписанный лист бумаги. Мистер Сапси поглядывает на этот лист и с горделивым видом читает про себя написанное; затем встает и, запустив большие пальцы в проймы жилета, неторопливо прохаживается по комнате и повторяет то же

самое вслух – с большим достоинством, но вполголоса, так что разобрать можно лишь слово «Этелинда».

На том же столе у камина выстроились в ряд на подносе три чистых стаканчика. Входит горничная и докладывает: «Мистер Джаспер, сэръ». – «Просите», – отвечает мистер Сапси, помахивая рукой, и выдвигает два стаканчика из шеренги, как двух рекрутов, призванных к исполнению службы.

– Рад вас видеть, сэръ. Благодарю за честь, которую вы мне оказали, впервые посетив меня. Весьма польщен. – Так мистер Сапси выполняет свои обязанности гостеприимного хозяина.

– Вы очень любезны. Но это я должен быть польщен и благодарить вас за честь.

– Вам угодно так думать, сэръ. Но уверяю вас, для меня большое удовольствие принимать вас в моем скромном жилище. Я не всякому это скажу.

Надо слышать, с какой неизъяснимо величественной интонацией мистер Сапси произносит эти слова: он как бы говорит своему собеседнику: «Вам, конечно, трудно поверить, что мне может доставить удовольствие общество такой мелкой сошки, как вы. Тем не менее это так».

– Я давно желал познакомиться с вами, мистер Сапси.

– А я давно слышал о вас, сэръ, как о человеке со вкусом. Разрешите вам налить. Выпьем за то, – говорит мистер Сапси, наполняя собственный стакан, – чтобы

Французам, если они нас атакуют,
В Дувре мы устроили встречу лихую!

Этот патриотический тост был в ходу во времена детства мистера Сапси, и, стало быть, по убеждению этого достойного мужа, должен быть пригоден и для всех последующих эпох.

– Вы не станете отрицать, мистер Сапси, – с улыбкой говорит Джаспер, глядя, как аукционист с комфортом располагается перед камином, – что вы знаете свет.

– Да что ж, сэр, – отвечает тот, самодовольно посмеиваясь, – пожалуй, немножко знаю. Немножко знаю.

– Ваша репутация в этом отношении всегда интересовала меня, и удивляла, и побуждала искать вашего знакомства. Клойстергэм ведь такое захолустье. И если сидеть тут безвыездно, как я, например, так откуда, казалось бы, взяться знанию света?

– Я, правда, не бывал в чужих краях, молодой человек... – начинает мистер Сапси и тут же останавливается. – Вы не обижаетесь, мистер Джаспер, что я вас зову «молодой человек»? Вы ведь намного моложе меня.

– Пожалуйста!

– Я, правда, не бывал в чужих краях, молодой человек, но чужие края сами приходили ко мне. Они приходили ко мне в связи с моей профессией, и я не упускал случая расширить свои знания. Положим, я составляю опись имущества или каталог. Передо мною французские часы. Я никогда их раньше не видал, но я тотчас кладу на них палец и говорю: «Париж!» Или попадают мне несколько китайских чашек и блюдце, тоже доселе мною не виданных. Я тут же кладу на них палец и говорю: «Пекин, Нанкин и Кантон!» То же самое с Японией, с Египтом, с бамбуком и сандаловым деревом из Ост-Индии – я на всех на них кладу палец. Мне случалось класть его даже на Северный полюс и говорить: «Эскимосская острога, куплена за полпинты дешевого хереса!»

– Вот как! Очень интересный способ приобретать знания о вещах и людях.

– Я это рассказываю вам, сэр, – поясняет мистер Сапси с неопишуемым самодовольством, – потому что, как я всегда говорю, мало гордиться своими знаниями; ты покажи, как их достиг, тогда тебе поверят!

– Очень интересно. Но вы хотели поговорить о покойной миссис Сапси.

– Хотел, сэр. – Мистер Сапси снова наполняет стаканы, а бутылку отставляет подальше. – Но прежде чем я спрошу у вас совета, как у человека со вкусом, относительно вот этого пустячка, – мистер Сапси поднимает в воздух исписанный лист бумаги, – ибо это, конечно, пустячок, однако и он потребовал некоторого размышления, сэр, я бы сказал, вдохновенной работы ума, – может быть, мне следовало бы сперва описать вам характер покойной миссис Сапси, скончавшейся за девять месяцев до настоящего дня.

Мистер Джаспер, только что раскрывший рот, чтобы сладко зевнуть под прикрытием своего стакана, отнимает этот экран и старается придать своему лицу выражение внимания и интереса. Это плохо ему удается, так как подавленный зевонк распирает ему челюсти и вызывает на глазах слезы.

– Лет шесть тому назад, – продолжает мистер Сапси, – когда я уже развил свой ум, не скажу, до нынешнего его уровня, – это значило бы метить слишком высоко, – но, во всяком случае, до того состояния, при котором возникает потребность растворить в себе другой ум, я стал искать женщину, достойную стать спутницей моей жизни. Ибо, как я всегда говорю, нехорошо человеку быть одному.

Мистер Джаспер, по-видимому, старается запечатлеть в памяти это оригинальное изречение.

– Мисс Бробити в то время содержала на другом конце города учреждение, не скажу, соперничавшее с Женской Обителью, но родственное ей по целям и задачам. Люди говорили, что она со страстным увлечением присутствовала на всех моих аукционах, если они происходили в ее свободные дни или во время вакаций. Люди утверждали, что она восхищалась моими манерами и моим красноречием. Люди отмечали, что с течением времени многие привычные для меня обороты речи стали проскальзывать в диктантах ее учениц. Молодой человек, ходил даже слух, порожденный тайной злобой, что некий скудоумный и

невежественный грубиян (отец одной из воспитанниц) вздумал публично против этого протестовать. Но я этому не верю. Мыслимо ли, чтобы человек, не вовсе лишенный рассудка, решился по доброй воле пригвоздить себя к позорному столбу?

Мистер Джаспер трясет головой. Конечно, это немыслимо. Мистер Сапси, которого собственное велеречие привело в какое-то самозабвение, пытается наполнить стакан своего гостя (и без того полный), затем наполняет свой, уже опустевший.

– Все существо мисс Бробити, молодой человек, было проникнуто преклонением перед Умом. Она боготворила Ум, направленный или, лучше сказать, устремленный к широкому познанию мира. Когда я сделал ей предложение, она оказала мне честь быть столь потрясенной неким благоговейным страхом, что могла вымолвить лишь два слова: «О ты!» – подразумевая меня. Подняв ко мне свои чистые лазурные очи, стиснув на груди прозрачные пальцы, с залитым бледностью орлиным профилем, она не в силах была продолжать, хотя и была к тому мною поощряема. Я ликвидировал родственное учреждение при помощи частного контракта, и мы стали единым существом, насколько это было возможно при данных обстоятельствах. Но и впоследствии она никогда не могла найти выражений, удовлетворительно передающих ее, быть может, слишком лестную оценку моего интеллекта. До самой ее кончины (последовавшей от слабости печени) ее обращение ко мне сохраняло ту же незавершенную форму.

К концу своей речи мистер Сапси все более понижал голос, и веки его слушателя все более тяжелели, глаза слипались. Но теперь мистер Джаспер внезапно раскрывает глаза и в тон элегическому распеву в голосе мистера Сапси говорит: «Э-эк!..», тут же обрывая, как будто хотел сказать: «Э-экая чушь!..», но вовремя удержался.

– С тех пор, – продолжает мистер Сапси, вытягивая ноги к огню и в полной мере наслаждаясь портвейном и теплом от камина, – с тех пор я пребываю в том горестном положении, в котором вы меня видите; с тех пор я безутешный вдовец; с тех пор лишь пустынный

воздух внемлет моей вечерней беседе. Мне не в чем себя упрекнуть, но временами я задаю себе вопрос: что, если бы ее супруг был ближе к ней по умственному уровню? Если бы ей не приходилось всегда взирать на него снизу вверх? Быть может, это оказало бы укрепляющее действие на ее печень?

Мистер Джаспер с видом крайней подавленности отвечает, что, «надо полагать, так уж было суждено».

– Да, теперь мы можем только предполагать, – соглашается мистер Сапси. – Как я всегда говорю: человек предполагает, а Бог располагает. Пожалуй, это та же самая мысль, лишь выраженная иными словами. Во всяком случае, именно так я ее выражаю.

Мистер Джаспер что-то невнятно бормочет в знак согласия.

– А теперь, мистер Джаспер, – продолжает аукционист, – когда памятник миссис Сапси уже имел время осесть и просохнуть, я прошу вас, как человека со вкусом, сообщить мне ваше мнение об этой надписи, которую я (как уже сказано, не без некоторой вдохновенной работы ума) для него составил. Возьмите этот лист в руки. Расположение строк должно быть воспринято глазом, равно как их содержание – умом.

Мистер Джаспер повинуется и читает следующее:

Здесь покоится

ЭТЕЛИНДА,

почтительная жена

мистера **ТОМАСА САПСИ,**

аукциониста, оценщика, земельного агента и пр.

в городе Клойстергэме,

чье знание света, хотя и обширное,

никогда не приводило его в соприкосновение с душой,

более способной взирать на него с благоговением.

ПРОХОЖИЙ, ОСТАНОВИСЬ!

И спроси себя:

МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ?

Если нет,
КРАСНЕЯ, УДАЛИСЬ!

Мистер Сапси, вручив листок мистеру Джасперу, встал и поместился спиной к камину, чтобы лучше видеть, какой эффект произведет его творение на человека со вкусом; таким образом, лицо его обращено к двери, и, когда на пороге вновь появляется горничная и докладывает: «Дёрдлс пришел, сэр!», – он проворно подходит к столу и, налив доверху третий стаканчик, ныне призванный к исполнению своих обязанностей, отвечает: «Пусть Дёрдлс войдет!»

– Изумительно! – говорит мистер Джаспер, возвращая лист хозяину.

– Вы одобряете, сэр?

– Как же не одобрить. Это так ярко, характерно и законченно.

Аукционист слегка наклоняет голову, как человек, принимающий должную ему мзду и выдающий расписку в получении, а затем предлагает вошедшему Дёрдлсу «опрокинуть стаканчик», который тут же ему и подносит.

Дёрдлс – каменотес по ремеслу, главным образом по части могильных плит, памятников и надгробий, и весь он с головы до ног того же цвета, что и произведения его рук. В Клойстергэме его все знают: во всем городе нет более беспутного человека. Он славится здесь как искусный работник – о чем трудно судить, ибо никто не видал его за работой, – и как отчаянный пьяница – в чем каждый имел случай убедиться собственными глазами. Соборные склепы и подземелья знакомы ему лучше, чем любому из живых его сограждан, а пожалуй, и любому из умерших. Говорят, такие глубокие познания он приобрел в связи с тем, что, имея постоянный доступ в собор, как подрядчик по текущему ремонту, он завел обычай удаляться в эти тайные убежища, недоступные для клойстергэмских мальчишек, чтобы мирно проспаться после выпивки. Как бы то ни было, он их действительно отлично знает, и

во время ремонтных работ, когда приходилось разбирать часть какой-нибудь старой стены, контрфорса или пола, он, случалось, видел престранные вещи. О себе он часто говорит в третьем лице – то ли потому, что, рассказывая о своих приключениях, сам немножко путается, с ним это было или не с ним, то ли потому, что в этом случае смотрит на себя со стороны и просто употребляет то обозначение, под которым известна в Клойстергэме столь выдающаяся личность. Поэтому его рассказы обычно звучат так: «Тут-то Дёрдлс и наткнулся на этого старикана (подразумевая какого-нибудь сановного покойника давних времен, захороненного под собором), угодил киркой прямехонько ему в гроб. А старикан поглядел на Дёрдлса раскрытыми глазами, будто хотел сказать: «А, это ты, Дёрдлс? Ну, брат, я уж давно тебя жду!» – да и рассыпался в прах». С двухфутовой линейкой в кармане и молотком в руках Дёрдлс вечно слоняется по всем закоулкам в соборе, промеряя и выстукивая стены, и если он говорит Топу: «Слушай-ка, Топ, тут еще один старикан запрятан!» – Топ докладывает об этом настоятелю, как о новой и не подлежащей сомнению находке.

Одетый всегда одинаково – в куртке из грубой фланели с роговыми пуговицами, в желтом шарфе с обтрепанными концами, в ветхой шляпе, когда-то черной, а теперь рыжей, как ржавчина, и в шнурованных сапогах того же цвета, что и его каменные изделия, – Дёрдлс ведет бродячий образ жизни, словно цыган, всюду таская с собой узелок с обедом и присаживаясь то тут, то там на могильной плите, чтобы подкрепиться. Этот узелок с обедом Дёрдлса уже стал одной из клойстергэмских достопримечательностей – не только потому, что Дёрдлс с ним неразлучен, но еще и потому, что этот знаменитый узелок не раз попадал под арест вместе с Дёрдлсом (когда того задерживали за появление в публичных местах в нетрезвом виде) и затем фигурировал в качестве вещественной улики на судейском столе в городской ратуше. Это, впрочем, случалось не так уж часто, ибо если Дёрдлс никогда не бывает вполне трезв, то почти никогда не бывает и совсем пьян. Вообще же

он старый холостяк и живет в уже обветшалом и все же еще недостроенном, более похожем на нору, домишке, который, как говорят, сооружался им из камней, украденных из городской стены. Подойти к этому жилищу можно, лишь увязая по щиколотку в каменных осколках и с великим трудом продираясь сквозь некое подобие окаменелой чащи из могильных плит, подгробных урн, разбитых колонн и тому подобных скульптурных произведений в разной степени законченности. Здесь двое поденщиков неустанно обкалывают камни, а двое других неустанно пилят каменные глыбы двуручной пилой, стоя друг против друга и попеременно то исчезая каждый в своей будочке, служащей ему укрытием, то вновь из нее выныривая, причем это совершается так размеренно и неуклонно, как будто перед вами не живые люди, а две символические фигурки, изображающие Смерть и Время.

Этому самому Дёрдлсу, после того как он выпил предложенный ему стаканчик портвейна, мистер Сапси и вручает драгоценное творение своей Музы. Дёрдлс с видом полного безразличия вытаскивает из кармана свою двухфутовую линейку и хладнокровно вымеряет строчки, попутно пятная их каменной пылью.

– Это для памятника, что ли, мистер Сапси?

– Да. Это *Эпитафия*. – Мистер Сапси ждет, предвкушая глубокое впечатление, которое его шедевр должен произвести на бесхитростного представителя народа.

– Как раз поместится, – изрекает Дёрдлс. – Точно, до одной восьмой дюйма. Мое почтение, мистер Джаспер. Надеюсь, вы в добром здравии?

– А вы как поживаете, Дёрдлс?

– Да ничего, мистер Джаспер, вот только гробматизм одолел, ну да это уж так и быть должно.

– Ревматизм, вы хотите сказать, – поправляет мистер Сапси с некоторой резкостью. Он обижен тем, что в его сочинении Дёрдлса заинтересовала лишь длина строк.

– Нет, я хочу сказать гробматизм, мистер Сапси. Это не то, что просто ревматизм, это штука совсем особая. Вот мистер Джаспер понимает, что Дёрдлс хотел сказать. Вы попробуйте-ка встать зимним утром еще затемно, да сразу в подвалы, да повозиться там, среди гробов, до вечера, да проделывать это, как говорит катехизис, во вся дни жизни твоей, тогда сами поймете, что Дёрдлс хотел сказать.

– Да, в соборе у нас очень холодно, – соглашается мистер Джаспер, зябко передергивая плечами.

– Ага, и вам холодно, это наверху-то, в алтаре, где кругом живые люди дышат, так что аж пар идет. А каково же Дёрдлсу внизу, в подвалах, где только от земли да от мертвяков воспарение происходит? – наставительно замечает каменщик. – Вот и судите сами. А надпись вашу, мистер Сапси, сейчас, что ли, и начинать?

Мистер Сапси, жаждущий, как и всякий автор, немедленного опубликования своих трудов, отвечает, что и начать и кончить желательно возможно скорее.

– Ну так давайте мне ключ от склепа.

– Помилуйте, Дёрдлс, зачем вам ключ? Ведь надпись снаружи должна быть, а не внутри!

– Дёрдлс сам знает, где она должна быть, мистер Сапси. Кому же и знать! Спросите хоть кого в Клойстергэме – всякий скажет, что уж свое-то дело Дёрдлс знает.

Мистер Сапси встает, достает из стола ключ, отпирает сейф, вделанный в стену, и вынимает оттуда другой ключ.

– Когда Дёрдлс свою работу заканчивает, вроде как последний штришок кладет, все равно внутри или снаружи, он любит ее всю посмотреть и с лица и с изнанки, чтоб уж, значит, все было честь по чести, – обстоятельно поясняет Дёрдлс.

Так как ключ, поданный ему безутешным вдовцом, весьма не малого размера, он сперва засовывает свою двухфутовую линейку в специально для того предназначенный карман брюк, затем не спеша расстегивает свою фланелевую куртку и, расправив отверстие

огромного нагрудного кармана, пришитого с внутренней ее стороны, готовится поместить ключ в это хранилище.

– Однако, Дёрдлс! – говорит, усмехаясь, Джаспер, которого все это, очевидно, забавляет. – Вы сплошь подбиты карманами!

– А какую тяжесть я в них ношу, мистер Джаспер, кабы вы знали! Взвесьте-ка вот эти! – Он извлекает из кармана еще два больших ключа.

– Дайте сюда и ключ мистера Сапси. Он-то уж, наверно, самый тяжелый?

– Что один, что другой, разница небольшая, – говорит Дёрдлс. – Все они от склепов. А склепы все Дёрдлсова работа. Дёрдлс все ключи от своей работы при себе держит. Хоть и не так уж часто они надобятся.

– Кстати, – словно что-то вспомнив, говорит вдруг мистер Джаспер, рассеянно вертя в руках ключи, – я давно хотел вас спросить, да все забываю. Вы знаете, конечно, что вас иногда называют Гроби Дёрдлс?

– В Клойстергэме я известен как Дёрдлс, мистер Джаспер.

– Понятно. Само собой разумеется. Но иногда мальчишки...

– Ну, сэр, если вы этих чертенят слушаете... – сердито перебивает Дёрдлс.

– Я их слушаю не больше, чем вы. Но как-то среди певчих возник спор: что, собственно, это значит – Гроби? То ли это испорченное Робби... – лениво продолжает мистер Джаспер, позвякивая одним ключом о другой.

– Осторожнее, не повредите бородки, мистер Джаспер.

– Или это уменьшительное от Герберт... – Ключи снова позванивают, но уже в другом тоне.

– Камертон вы из них, что ли, хотите сделать, мистер Джаспер?..

– Или это намек на вашу профессию? Так сказать, Гробный – или Гробовый – Дёрдлс? А? Так вот, скажите, какое из этих предположений правильное?

Мистер Джаспер выпрямляется – до сих пор он сидел, лениво развалясь перед огнем, – взвешивает все три ключа на ладони и протягивает их Дёрдлсу с дружеской улыбкой.

Но Гробный Дёрдлс вместе с тем и довольно грубый Дёрдлс, к тому же, несмотря на винные пары, застилающие его мозг, весьма чувствительный насчет своего достоинства и склонный всякую шутку принимать за обиду. Он берет ключи, два из них тут же спускает в нагрудный карман и аккуратно пристегивает его пуговицей, а третий, чтобы равномернее распределить тяжесть, засовывает в свой узелок с обедом, как будто он страус и любит закусывать железом; затем снимает этот узелок со спинки стула, куда повесил его, входя, и неторопливо покидает комнату, так и не удостоив мистера Джаспера ответом.

Оставшись наедине со своим гостем, мистер Сапси предлагает ему сыграть партию в триктрак, и за этим занятием, которое хозяин сдабривает поучительной беседой, а затем за ужином из холодного ростбифа с салатом, они засиживаются допоздна, с приятностью коротая вечерок. Мудрость мистера Сапси и к этому времени еще далеко не исчерпалась, ибо, одаряя ею смертных, он придерживается не афористического, а пространно-расплывчатого способа изложения; но гость намекает, что при первом удобном случае вернется за новой партией этого драгоценного товара, и мистер Сапси отпускает его на сей раз, чтобы он мог поразмыслить на досуге над теми крупницами, которые уносит с собой.

Глава V

Мистер Дёрдлс и его друг

Возвращаясь домой и уже вступив в ограду собора, мистер Джаспер внезапно останавливается, пораженный странным зрелищем: прислонившись спиной к чугунной решетке, отделяющей кладбище от древних монастырских арок, стоит Дёрдлс со своим узелком и прочими своими атрибутами, а безобразный и крайне оборванный мальчишка швыряет в него камнями – в лунном свете каменщик представляет собой отличную мишень. Камни иногда попадают в него, иногда пролетают мимо, но и к тому и к другому Дёрдлс проявляет полное равнодушие. Мальчишка же, наоборот, попав, издает победный свист, которому отсутствие у него нескольких передних зубов сообщает особую пронзительность, а промахнувшись, вскрикивает: «Эх! Опять промазал!» – и, прицелившись поаккуратнее, с удвоенной яростью бомбардирует Дёрдлса камнями.

– Что ты делаешь? – восклицает Джаспер, выступая из тени на лунный свет.

– Стреляю в цель, – отвечает безобразный мальчишка.

– Подай сюда камни, что у тебя в руке!

– Ну да, как же! Сейчас подам! Прямо тебе в глотку. Не тронь! – взвизгивает вдруг мальчишка, вырываясь и отскакивая. – Глаз вышибу!

– Ах ты, чертенок! Что тебе сделал этот человек?

– Он домой не идет.

– Тебе-то какая забота?

– А он мне платит полпенни, чтоб я загонял его домой, если увижу поздно на улице, – отвечает мальчишка и вдруг пускается в пляс, словно дикарь, тряся лохмотьями и спотыкаясь о распущенные

шнурки своих башмаков, до того уж дырявых, что они еле держатся на его ногах; при этом он визгливо выкрикивает:

Кúк-ка-реку! Кíк-ки-рики!
Не шляй-ся после де-сяти!
А не то дураку
Камнем запалю в башку!
Кúк-ка-реку-у-у! Будь начеку-у!

На последнем слове он замахивается плеча, и в Дёрдлса снова летит град камней.

Эти поэтические прелиминарии служат, очевидно, установленным по взаимной договоренности сигналом, после которого Дёрдлсу остается либо увертываться от камней, если он сумеет, либо отправляться домой.

Джон Джаспер, убедившись в безнадежности всяких попыток воздействовать на мальчишку силой или уговорами, кивком головы приглашает его следовать за собой и переходит через дорогу к чугунной решетке, где Гробный (и наполовину уже угробленный) Дёрдлс стоит в глубокой задумчивости.

– Вы знаете этого... этого... эту... тварь? – спрашивает Джаспер, не находя слов для более точного определения этой твари.

Дёрдлс кивает.

– Депутат, – говорит он.

– Это что, его имя?

– Депутат, – подтверждает Дёрдлс.

– Я служу в «Двухпенсовых номерах для проезжающих», что у газового завода, – поясняет загадочное существо. – Нас всех, кто в номерах служит, там зовут депутатами. И когда у нас полно и все проезжающие уже спят, я выхожу погулять для здоровья. – И,

отпрыгнув на середину дороги и снова прицелившись, он опять затягивает:

Кúk-ка-реку! Кík-ки-рикí!
Не шляй-ся пос-ле де-ся-ти!

– погоди! – кричит Джаспер. – Не смей кидать, пока я с ним, не то я тебя убью! Пойдемте, Дёрдлс, я провожу вас до дому. Дайте я понесу ваш узелок.

– Ни в коем случае, – отвечает Дёрдлс, крепче прижимая узелок к себе. – Когда вы подошли, сэр, я размышлял посреди своих творений, как по... пу... пуделярный автор. Вот тут ваш собственный зять. – Дёрдлс делает широкий жест, как бы представляя Джасперу обнесенный оградой саркофаг, белый и холодный в лунном свете. – Миссис Сапси, – продолжает он с жестом в сторону склепа этой преданной супруги. – Покойный настоятель, – указуя на разбитую колонну над прахом этого преподобного джентльмена. – Безвременно усопший налоговый инспектор, – простирая руку к вазе со свисающим с нее полотенцем, водруженной на пьедестал, сильно напоминающий кусок мыла. – Незабвенной памяти кондитерские товары и сдобные изделия, – представляя своему собеседнику серую могильную плиту. – Все в целости и сохранности, сэр, и все Дёрдлсова работа. Ну а разная там шушера, у кого вместо надгробья только земля да колючий кустарник, про тех и поминать не стоит. Жалкий сброд, и скоро будут забыты.

– Эта тварь, Депутат, идет сзади, – говорит Джаспер, оглядываясь. – Что он, так и будет плестись за нами?

Отношения между Дёрдлсом и Депутатом носят, по-видимому, неустойчивый характер, ибо, когда каменщик оборачивается с медлительной важностью насквозь пропитанного пивом человека,

Депутат тотчас отбегает подальше и принимает оборонительную позу.

– Ты сегодня не кричал «будь начеку!», прежде чем начать, – говорит Дёрдлс, вдруг вспомнив – или вообразив, – что права его были нарушены.

– Врешь, я кричал, – отвечает Депутат, употребляя единственную известную ему форму вежливого возражения.

– Дикарь, сэр, – замечает Дёрдлс, снова поворачиваясь к Джасперу и тут же забывая нанесенную или примерещившуюся ему обиду. – Сущий дикарь! Но я дал ему цель в жизни.

– В которую он и целится? – подсказывает мистер Джаспер.

– Именно так, сэр, – с удовлетворением подтверждает Дёрдлс. – В которую он и целится. Я занялся его воспитанием и дал ему цель. Что он был раньше? Разрушитель. Что он порождал вокруг себя? Только разрушение. Что он получал за это? Отсидку в клойстергэмской тюрьме на разные сроки. Только и делал, что швырял камнями – никого, бывало, не пропустит, ни человека, ни строения, ни окна, ни лошади, ни собаки, ни кошки, ни воробья, ни курицы, ни свиньи – и все потому, что не было у него разумной цели. Я поставил перед ним эту разумную цель. И теперь он может честно зарабатывать свои полпенни в день, а в неделю это знаете сколько? Целых три пенса!

– Удивляюсь, что у него не находится конкурентов.

– Находятся, мистер Джаспер, да и не один. Но он их всех отгоняет камнями. Вот только не знаю, к чему это можно приравнять – эту вот мою с ним систему? – продолжает Дёрдлс все с той же пьяной важностью. – Как бы вы ее назвали, а? Нельзя ли сказать, что это вроде как новый проект... э-э... гм... народного просвещения?

– Пожалуй, все-таки нельзя, – отвечает Джаспер.

– Пожалуй, нельзя, – соглашается Дёрдлс. – Ну ладно, так мы и не будем подыскивать ей название.

– Он все еще идет за нами, – говорит Джаспер, оглядываясь. – Что ж, это и дальше так будет?

– Если мы пойдем задами – а это всего короче, – так не миновать идти мимо «Двухпенсовых номеров для проезжающих», – отвечает Дёрдлс. – Там он от нас отстанет.

Они следуют далее в том же порядке: Депутат в качестве арьергарда движется развернутым строем и нарушает ночную тишину, ведя беглый огонь по каждой стене, столбу, колонне и всем прочим неодушевленным предметам, какие попадаются им на этой пустынной дороге.

– Есть что-нибудь новенькое в соборных подземельях? – спрашивает Джон Джаспер.

– Что-нибудь старенькое, вы хотите сказать, – бурчит в ответ Дёрдлс. – Не такое это место, чтоб там новому быть.

– Я хотел сказать, какая-нибудь новая находка.

– Да, нашелся там еще один старикан – под седьмой колонной слева, если спускаться по разбитым ступенькам в подземную часовенку; и сколько я мог разобрать (только по-настоящему я его разбирать еще не начал), он из тех, самых важных, с крюком на посохе. И уж как они там протискивались, с этими крюками, бог их ведает – проходы-то узкие, да еще ступеньки, да двери, а ну как еще двое встретятся – небось частенько цепляли друг дружку за митры!

Джаспер не пытается внести поправку в чересчур реалистические представления Дёрдлса о быте епископов; он только с любопытством разглядывает своего компаньона, с головы до ног перепачканного в засохшем растворе, известке и песке, – как будто чем дальше, тем все больше проникаясь интересом к его странному образу жизни.

– Любопытная у вас жизнь, – говорит он наконец.

Ничем не показывая, принимает ли он это за комплимент или наоборот, Дёрдлс ворчливо отвечает:

– У вас тоже.

– Да, поскольку судьба и меня связала с этим мрачным, холодным и чуждым всяких перемен местом, пожалуй, вы правы. Но все же

ваша связь с собором гораздо интереснее и таинственнее, чем моя. Мне даже хочется попросить вас – возьмите меня к себе в науку, в бесплатные помощники, и позвольте иногда вас сопровождать, чтобы я тоже мог заглянуть в один из тех древних тайников, где вы проводите свои дни.

Дёрдлс отвечает как-то неопределенно:

– Ну что ж. Все знают, где найти Дёрдлса, ежели он потребуется, – что, хотя и не вполне удовлетворительно как точный адрес, но справедливо в том смысле, что Дёрдлса всегда можно найти блуждающим по обширным владениям собора.

– Что мне всего удивительнее, – продолжает Джаспер, развивая все ту же полюбившуюся ему тему, – это необыкновенная точность, с которой вы определяете, где захоронен покойник. Как вы это делаете?.. Что? Узелок вам мешает? Дайте я подержу.

Дёрдлс в эту минуту остановился (в связи с чем Депутат, зорко следивший за каждым его движением, немедля ретировался на середину дороги), и теперь, оглядываясь по сторонам, каменщик ищет, на что положить свой узелок; Джаспер приходит к нему на помощь и освобождает от ноши.

– Достаньте-ка оттуда мой молоток, – говорит Дёрдлс, – и я вам покажу.

Клик, клик. И молоток переходит в руки Дёрдлса.

– Ну, смотрите. Вы ведь, когда ваш хор поет, задаете ему тон, мистер Джаспер?

– Да.

– Ну а я слушаю, какой будет тон. Беру молоток и стучу. (При этом он постукивает по каменным плитам дорожки, а насторожившийся Депутат ретируется на еще более далекую дистанцию, видимо, опасаясь, как бы для эксперимента не потребовалась его собственная голова.) Стук! Стук! Стук! Цельный камень. Продолжаю стучать. И тут цельный. Опять стучу. Эге! Тут пусто! Еще постучим. Ага. Что-то твердое в пустоте. Проверим. Стук! Стук! Стук! Твердое в пустоте, а в твердом в середине опять пусто. Ну вот и нашел. Склеп за

этой стенкой, а в склепе каменный гроб, а в гробу рассыпавшийся в прах старикан.

– Изумительно!

– Мне и не то случилось делать, – говорит Дёрдлс, вытаскивая из кармана свою двухфутовую линейку (а Депутат тем временем подкрадывается ближе, взволнованный осенившей его догадкой, что сейчас будет обнаружен клад, что косвенным путем может послужить к собственному его обогащению, а также влекомый сладкой надеждой увидеть, как кладоискатели, по его доносу, «будут повешены за шею, пока не умрут»^[4]). – Допустим, этот вот молоток – это стена – моя работа. Два фута: четыре; да еще два; шесть, – бормочет он, вымеряя дорожку. – В шести футах за этой стеной лежит миссис Сапси.

– Как миссис Сапси?.. Не на самом же деле?..

– Предположим, что миссис Сапси. У нее стена потолще, но предположим, что миссис Сапси. Дёрдлс выстукивает эту стену – вот, где молоток, – а выстукав, говорит: «Тут, между нами, еще что-то есть!» И что же вы думаете? Верно! В этом шестифутовом пространстве мои рабочие оставили кучу мусора.

Джаспер заявляет, что подобная точность – это «дар свыше».

– И никакой это не дар свыше, – отвечает Дёрдлс, ничуть не польщенный такой похвалой. – Это я трудом добился. Дёрдлс все свои знания из земли выкапывает, а не хотят выходить, так он еще глубже да глубже роет, пока не подцепит их под самый корень. Эй ты, Депутат!

– Кук-ка-реку! – пронзительно откликается Депутат, снова отбегая подальше.

– Вот тебе твои полпенни. Лови! А как дойдем до «Двухпенсовых номеров», так чтоб я больше тебя не видел.

– Будь начеку! – отвечает Депутат, ловя на лету монетку и этой мистической формулой выражая свое согласие.

Им остается пересечь небольшой пустырь – бывший виноградник, некогда принадлежавший бывшему монастырю, а затем они

вступают в тесный переулок, где уже издали виден приземистый и обшарпанный двухэтажный деревянный домишко, известный в Клойстергэме под названием «Двухпенсовых номеров для проезжающих»; дом этот, весь какой-то перекивленый и в такой же мере шаткий, как и моральные устои самих проезжающих, явно уже близится к разрушению; мелкий переплет в полукруглом окне над дверью почти весь выломан, и такие же дыры зияют в грубой изгороди вокруг истоптанного палисадника; ибо проезжающие питают столь нежные чувства к своему временному пристанищу (или так любят в дальнейших своих странствиях разводить костры на краю дороги), что, когда под воздействием уговоров или угроз соглашаются наконец покинуть милый их сердцу приют, каждый насильственно завладевает какой-нибудь деревянной памяткой и уносит ее с собой.

Для придания этой жалкой лачуге сходства с гостиницей в окнах повешены традиционные красные занавески, вернее, обрывки занавесок, и сквозь это рваное тряпье грязными пятнами просвечивают в ночной темноте слабые огоньки сальных огарков с фитилями из хлопка или сердцевины камыша, еле тлеющих в спертom воздухе двухпенсовых каморок. Когда Дёрдлс и Джаспер подходят ближе, их встречает надпись на бумажном фонаре над входом, уведомляющая о назначении этой хибары. Кроме того, их встречают пять или шесть неведомо откуда высыпавших на лунный свет безобразных мальчишек, то ли двухпенсовых постояльцев, то ли их приспешников и служающих, на которых присутствие Депутата действует как запах падали на стервятника; они слетаются к нему со всех сторон, словно грифы в пустыне, и тотчас принимаются швырять камнями в него и друг в друга.

– Перестаньте, звереныши, – сердито кричит на них Джаспер, – дайте пройти!

На этот окрик они отвечают еще более громкими воплями и еще более яростным обстрелом, согласно обычаю, прочно установившемуся за последние годы в наших английских селениях,

где принято теперь побивать христиан камнями, как во времена великомученика Стефана. Все это, однако, мало трогает Дёрдлса; ограничившись замечанием, в данном случае довольно справедливым, что у этих юных дикарей отсутствует цель в жизни, он бредет дальше по переулку.

На углу Джаспер, еще не остывший от гнева, придерживает за локоть своего спутника и оглядывается назад. Все тихо. Но в ту же минуту далекий крик «будь начеку!» и пронзительное кукареканье, как бы исшедшее из горла какого-то высиженного в аду Шантеклера, возвещает Джасперу, под чьим метким огнем он находится. Он заворачивает за угол – тут уж он в безопасности – и провожает Дёрдлса до самого дома, причем почтенный гробовых дел мастер так качается на ходу, спотыкаясь об усеивающие его двор каменные обломки, как будто и сам стремится залечь в одну из своих незаконченных могил.

Джон Джаспер по другой дороге возвращается в домик над воротами и, отомкнув дверь своим ключом, неслышно входит. В камине еще тлеет огонь. Он достает из запертого шкафа странного вида трубку, набивает ее – но не табаком – и, старательно размяв это снадобье чем-то вроде длинной иглы, поднимается по внутренней лесенке, ведущей к двум верхним комнатам. Одна из них его собственная спальня, другая – спальня его племянника. В обеих горит свет.

Племянник спит мирным и безмятежным сном. Джон Джаспер с незажженной трубкой в руке стоит с минуту у его изголовья, пристально и с глубоким вниманием вглядываясь в лицо спящего. Затем на цыпочках уходит к себе, раскуривает свою трубку и отдается во власть призраков, которыми она населяет глухую полночь.

Глава VI

Филантропия в доме младшего каноника

Достопочтенный Септимус Криспаркл (названный Септимусом потому, что ему предшествовала вереница из шести маленьких Криспарклов, угасавших один за другим в момент рождения, как гаснет на ветру слабый огонек лампы, едва ее успеют зажечь), пробив своей красивой головой утренний ледок в заводи возле клойстергэмской плотины, что весьма способствует укреплению его атлетического тела, теперь старается дополнительно разогнать кровь, с великим искусством и такой же удачью боксируя перед зеркалом. В зеркале отражается очень свежий, румяный и цветущий здоровьем Септимус, который то с необычайным коварством делает ложные выпады, то ловко увертывается от ударов, то свирепо бьет плеча; и все это время лицо его сияет доброй улыбкой, и даже боксерские перчатки источают благоволение.

До завтрака еще есть время; сама миссис Криспаркл – мать, а не жена достопочтенного Септимуса – только что сошла вниз и дожидается, пока подадут чай. Когда она показалась, достопочтенный Септимус прервал свои упражнения и, зажав боксерскими перчатками круглое личико старой дамы, нежно его расцеловал. Затем вновь обратился к зеркалу и, заслонясь левой, правой нанес невидимому противнику сокрушительный удар.

– Каждое утро, Септ, я этого боюсь, – промолвила, глядя на него, старая дама. – И когда-нибудь оно-таки случится!

– Что случится, мамочка?

– Либо ты разобьешь трюмо, либо у тебя лопнет жила.

– Даст Бог ни того, ни другого не будет, мама! Разве уж я такой увалень? Или у меня плохое дыханье? Вот посмотри!

В заключительном раунде достопочтенный Септимус с молниеносной быстротой расточает и парирует жесточайшие удары

и, войдя в близкий бой, кончает захватом головы противника – под таким названием известен этот прием среди знатоков благородного искусства бокса, – но делает это так легко и бережно, что на зажатом под его левым локтем чепчике миссис Криспаркл не смята и не потревожена ни одна из украшающих его сиреневых или вишневых лент. Затем он великодушно отпускает побежденную, и как раз вовремя – он только успел бросить перчатки в шкаф, отвернувшись к окну, принять созерцательную позу, как вошла служанка, неся чайный прибор. Когда приготовления к завтраку были закончены и мать с сыном снова остались одни, приятно было видеть (то есть было бы приятно всякому третьему лицу, если бы таковое присутствовало на этой семейной трапезе, чего никогда не бывает), как миссис Криспаркл, стоя, прочитала молитву, а ее сын – даром что он теперь младший каноник и ему всего пяти лет не хватает до сорока, – тоже стоя, смиренно внимал ей, склонив голову, точно так же как он внимал этим самым словам из этих самых уст, когда ему всего пяти месяцев не хватало до четырех лет.

Что может быть милее старой дамы – разве только молодая дама, – если у нее ясные глаза, ладная пухленькая фигурка, спокойное и веселое выражение лица, а наряд как у фарфоровой пастушки: в таких мягких тонах, так ловко пригнан и так ей идет? Ничего нет на свете милее, часто думал младший каноник, усаживаясь за стол напротив своей давно уже вдовствующей матери. А ее мысли в такую минуту лучше всего можно выразить двумя словами, которые часто срываются с ее уст во время разговора: «Мой Септ!»

Эти двое, сидящие за завтраком в доме младшего каноника в городе Клойстергэме, удивительно подходят ко всему своему окружению. Ибо этот уголок, где в тени собора приютился Дом младшего каноника, это очень тихое местечко, и крики грачей, шаги редких прохожих, звон соборного колокола и раскаты соборного органа не только не нарушают объемлющей его тишины, но делают ее еще более глубокой. В течение столетий раздавались здесь лязг

оружия и клики надменных воинов; в течение столетий крепостные рабы влачили здесь бремя подневольного труда и умирали под его непосильной тяжестью; в течение столетий могущественный монашеский орден творил здесь иногда благо, а иногда зло – и вот никого из них уже нет, – и пусть, так лучше. Быть может, только тем и были они полезны, что оставили после себя этот благодатный покой, ныне здесь царящий, эту тихую ясность, которая нисходит здесь в душу и располагает ее к состраданию и терпимости – как бывает, когда рассказана до конца горестная история или доигран последний акт волнующей драмы.

Стены из красного кирпича, принявшего с годами более мягкую окраску, пышно разросшийся плющ, стрельчатые окна с частым переплетом, панельная обшивка маленьких уютных комнат, тяжелые дубовые балки в невысоких потолках и обнесенный каменной стеною сад, где по-прежнему каждую осень зреют плоды на возвращенных еще монахами деревьях, – вот что окружает милостивую миссис Криспаркл и достопочтенного Септимуса, когда они сидят за завтраком.

– Так скажи же мне, мамочка, – промолвил младший каноник, с отменным аппетитом поглощая завтрак, – что там написано, в этом письме?

Милостивая старая дама, уже успевшая прочитать письмо и спрятать его под скатерть, вновь извлекла его оттуда и подала сыну.

Старая леди, надо вам сказать, очень гордится тем, что до сих пор сохранила острое зрение и может без очков читать писанное от руки. Сын ее тоже очень этим гордится, и для того, чтобы мать чаще имела случай показать свое превосходство в этом отношении, он поддерживает версию, будто сам он без очков читать не может. Так и на сей раз, прежде чем взяться за письмо, он оседлал нос огромными очками в тяжелой оправе, которые не только немилосердно давят ему на переносицу и мешают есть, но и для чтения составляют немалое препятствие. Ибо без стекол глаза у него отличные и видят вблизи как в микроскоп, а вдаль как в телескоп.

– Это, понятно, от мистера Сластигроха, – промолвила старая дама, сложив ручки на животе.

– Понятно, – поддакнул ее сын и принялся читать, щурясь и запинаясь чуть не на каждом слове:

«Прибежище Филантропии.

Главная канцелярия, Лондон. Среда.

Милостивая государыня!

Я пишу вам, сидя в...»

Что такое, не понимаю! В чем он там сидит?

– В кресле, – пояснила старая дама.

Достопочтенный Септимус снял очки, чтобы лучше видеть лицо матери, и воскликнул:

– А почему об этом надо писать?

– Господи боже мой, Септ! – возразила старая леди. – Ты же не дочитал до конца! Дай сюда письмо.

Обрадованный возможностью снять очки (ибо у него всегда слезятся от них глаза), сын повиновался, прибавив вполголоса, что вот беда, с каждым днем ему все труднее становится разбирать чужой почерк.

– «Я пишу вам, – начала мать, произнося слова необыкновенно вразумительно и четко, – сидя в кресле, к которому, очевидно, буду прикован еще в течение нескольких часов...»

Взгляд Септимуса с недоумением и даже ужасом обратился к креслам, выстроившимся вдоль стены.

– «У нас в настоящую минуту, – еще более выразительно продолжала старая дама, – происходит заседание нашего Объединенного комитета всех филантропов Лондона и Лондонского округа, созванное, как указано выше, в нашем Главном Прибежище, и все присутствующие единогласно предложили мне занять председательское кресло...»

– Ах, вот что, – со вздохом облегчения пробормотал Септимус, – ну пусть себе сидит, коли так.

– «Желая отправить письмо с сегодняшней почтой, я решил использовать время, пока зачитывается длинный доклад, обличающий одного проникшего в нашу среду негодяя...»

– Удивительное дело, – вмешался кроткий Септимус, откладывая нож и вилку и досадливо потирая себе ухо. – Эти филантропы всегда кого-нибудь обличают. А еще удивительнее, что у них всегда полным-полно негодяев.

– «...проникшего в нашу среду негодяя, – с ударением повторила старая дама, – и окончательно уладить с вами наше небольшое дельце. Я уже говорил с моими подопечными, Невилом и Еленой Ландлес, по поводу их недостаточного образования, и они дали согласие на предложенный мною план – я, конечно, позаботился, чтобы они дали согласие, независимо от того, нравится им этот план или нет».

– Но самое удивительное, – продолжал в том же тоне младший каноник, – это что филантропы так любят хватать своего ближнего за шиворот и, если смею так выразиться, пинками загонять его на стезю добродетели. Прости, мамочка, я тебя прервал.

– «Поэтому, милостивая государыня, будьте добры предупредить вашего сына, достопочтенного мистера Септимуса, что в следующий понедельник к вам прибудет вышеупомянутый Невил, дабы жить у вас в доме и под руководством вашего сына готовиться к экзамену. Одновременно приедет и Елена, которая будет жить и обучаться в Женской Обители, этом рекомендованном вами пансионе. Будьте любезны, сударыня, позаботиться о ее устройстве. Плата в обоих случаях подразумевается та, какую вы указали мне письменно в одном из посланий, коими мы обменялись, после того как я имел честь быть вам представленным в доме вашей сестры в Лондоне. С нижайшим поклоном достопочтенному мистеру Септимусу остаюсь, милостивая государыня,

ваш любящий брат во филантропии

Люк Сластигрох».

– Ну что ж, мамочка, – сказал Септимус, еще дополнительно потеряв себе ухо, – попробуем. Свободная комната у нас есть, и время свободное у меня найдется, и я рад буду помочь этому юноше. Вот если бы к нам попросился сам мистер Сластигрох, ну, тогда не знаю... Хотя откуда у меня такое предубеждение против него – ведь я его в глаза не видал. Каков он собой, а? Наверно, этаким большой, сильный мужчина?

– Пожалуй, я бы сказала, что он сильный, – отвечала после некоторого колебания старая дама, – если бы голос у него не был еще сильнее.

– Сильнее его самого?

– Сильнее кого угодно.

– Гм!.. – сказал Септимус и поторопился закончить завтрак, как будто чай высшего сорта внезапно стал менее ароматным, а поджаренный хлеб и яичница с ветчиной менее вкусными.

Сестра миссис Крипаркл, столь на нее похожая, что вместе они, как две парные статуэтки из саксонского фарфора, могли бы послужить украшением старинного камина, была бездетной женой священника, имевшего приход в одном из богатых кварталов Лондона. И во время очередной выставки фарфоровых фигурок – иными словами, ежегодного визита миссис Крипаркл к сестре – с ней и познакомился мистер Сластигрох, что произошло в конце некоего праздника филантропического характера, на котором он присутствовал в качестве записного глашатая филантропии и в течение которого на неповинные головы нескольких благотворимых сирот была обрушена лавина медовых коврижек и ливень медоточивых речей.

Вот и все сведения, какие имелись в Доме младшего каноника о будущих воспитанниках.

– Я считаю, мамочка, – сказал, подумав, мистер Криспаркл, – и ты, наверно, со мною согласишься, что прежде всего нужно сделать так, чтобы они чувствовали себя у нас легко и свободно. И это вовсе не так уж бескорыстно с моей стороны, потому что если им не будет с нами легко, то и нам с ними будет трудно. Сейчас у Джаспера гостит племянник; а подобное тянется к подобному и молодое к молодому. Он славный юноша – давай пригласим его обедать и познакомим с братом и сестрой. Это, выходит, трое. Но если приглашать племянника, то надо пригласить и дядю. Это уж будет четверо. Да еще хорошо бы позвать мисс Твинклтон и эту прелестную девочку, будущую супругу Эдвина. Это шесть. Да нас двое – восемь. Восемь человек к обеду это не чересчур много, мамочка?

– Девять было бы чересчур, – отвечала старая леди с видимым беспокойством.

– Милая мамочка, я же сказал – восемь.

– Для восьми как раз хватит места за столом и в комнате, дорогой мой.

На том и порешили; и когда мистер Криспаркл зашел с матерью к мисс Твинклтон договориться о приеме мисс Елены Ландлес в число пансионеров, приглашение было изложено и принято. Мисс Твинклтон, правда, окинула грустным взглядом свои глобусы, как бы сожалея о невозможности прихватить их с собой, но утешилась мыслью, что эта разлука ненадолго. Затем великому филантропу были посланы указания, как и когда именно Невилу и Елене надлежит выехать из Лондона, чтобы вовремя поспеть к обеду, и в Доме младшего каноника из кухни пополз аромат крепкого бульона.

В те дни в Клойстергэме не было железнодорожной станции – а мистер Сапси утверждал, что и никогда не будет. Мистер Сапси выражался даже более решительно: он говорил, что ее и не должно быть. И вот вам доказательство его прозорливости: даже и теперь курьерские поезда не удостоивают наш бедный городок остановки, а с яростными гудками проносятся мимо и только отрясают на него прах со своих колес в знак пренебрежения. Ибо они обслуживают

другие, более важные города, а Клойстергэм просто случайно оказался вблизи главной линии, и, уж конечно, никто не думал о нем, когда затевалось это рискованное предприятие, которое, по мнению многих, неминуемо должно было поколебать денежный курс, если бы провалилось, Церковь и Государство, если бы удалось, и, во всяком случае, Конституцию, как при успехе, так и при неудаче. Станцию устроили где-то подальше, на самом пустынном перегоне, но и это так напугало владельцев конного транспорта, что они с тех пор не осмеливались уж пользоваться большой дорогой и в город прокрадывались окольными путями по каким-то задворкам мимо старой конюшни, где на углу уже много лет висела надпись: «Осторожно! Злая собака!»

Сюда-то, к этому непрезентабельному въезду в город, направил свои стопы мистер Криспаркл, и теперь он стоял, поджидая дилижанс, служивший в те дни единственным средством сообщения между Клойстергэмом и внешним миром. Когда этот кургузый и приземистый экипаж, на крыше которого всегда громоздилось столько багажа, что он походил на маленького слоника с непомерно большим паланкином, показался наконец на повороте и подкатил, переваливаясь и громыхая, мистер Криспаркл в первую минуту ничего не мог различить, кроме огромной фигуры пассажира на переднем сиденье, заслонявшей все остальное; упершись руками в колени и расставив локти, этот монументального вида господин с резкими чертами лица восседал на козлах, затиснув возницу куда-то в угол, и бросал по сторонам грозные взгляды.

– Это Клойстергэм? – спросил он трубным голосом.

– Он самый, – отвечал возница, передавая вожжи конюху и с гримасой боли потирая себе бока. – Фу-у! Слава те, господи, доехали!

– А вы скажите своему хозяину, чтоб он сделал козлы пошире, – возразил пассажир. – Он обязан заботиться об удобстве своих ближних – это его моральная обязанность, а я б заставил его отвечать еще и по суду под угрозой жестоких штрафов!

Возница тем временем ощупывал себя всего, проверяя целостность своего скелета, и лицо его выражало беспокойство.

– Я разве сидел на вас? – спросил пассажир.

– Сидели, – ответил возница таким тоном, как будто это ему не нравилось.

– Возьмите эту карточку, друг мой.

– Да нет уж, оставьте ее у себя, – ответил возница, неодобрительно поглядывая на протянутый ему кусочек картона и не беря его в руки. – На что она мне?

– Вы можете вступить в наше общество.

– А что я от этого получу?

– Братьев, – пояснил пассажир свирепым голосом.

– Спасибо, – твердо ответил возница, слезая с козел. – Моя матушка считала, что ей одного меня достаточно, и я тоже так считаю! Не нужны мне братья.

– Но они все равно у вас есть, хотите вы или не хотите, – возразил пассажир, тоже слезая с козел. – Я ваш брат.

– Ну, знаете!.. – рявкнул возница, теряя самообладание. – Всему есть мера! И ягненок начнет брыкаться, ежели...

Но тут вмешался мистер Криспаркл.

– Джо, Джо, Джо! – проговорил он с кроткой укоризной. – Опомнитесь, Джо, дорогой мой! – А когда Джо, разом успокоившись, почтительно притронулся к своей шляпе, мистер Криспаркл повернулся к пассажиру: – Мистер Сластигрох, если не ошибаюсь?

– Да, это мое имя, сэр.

– А мое Криспаркл.

– Дistinguished мистер Септимус? Рад вас видеть, сэр. Елена и Невил в карете. А я, знаете ли, подумал, что мне полезно будет подышать свежим воздухом – захирел немножко под бременем общественных обязанностей, – ну и решил проводить моих подопечных сюда, а вечером вернуться. Так вы, значит, и есть distinguished мистер Септимус? – несколько разочарованно добавил великий филантроп, разглядывая мистера Криспаркла и

вертя свой лорнет вокруг пальца с таким видом, словно поджаривал его на вертеле. – Гм! Я ожидал увидеть в вашем лице человека более пожилых лет.

– Надеюсь, еще увидите, сэр.

– Что вы сказали? – переспросил мистер Сластигрох.

– Это я так, пошутил. И кажется, не совсем удачно. Не стоит повторять.

– А! Пошутили! Ну, я никогда не понимал шуток, – нахмутив брови, отвечал мистер Сластигрох. – Шутки до меня не доходят, сэр. Так что не трудитесь шутить со мною. Да где же они? Невил, Елена, подите сюда! Мистер Криспаркл пришел вас встретить.

На редкость красивый стройный юноша и на редкость красивая стройная девушка; очень похожи друг на друга; оба черноволосые, со смуглым румянцем, она почти цыганского типа; оба чуть-чуть с дичинкой, какие-то неручные; сказать бы, охотник и охотница, но, нет, скорее это их преследуют, а не они ведут ловлю. Тонкие, гибкие, быстрые в движениях; застенчивые, но не смирные; с горячим взглядом; и что-то есть в их лицах, в их позах, в их сдержанности, что напоминает пантеру, притаившуюся перед прыжком, или готового спастись бегством оленя. В таких примерно словах описал бы мистер Криспаркл свои впечатления за первые пять минут знакомства с братом и сестрой.

Он пригласил мистера Сластигроха обедать – правда, не без тревоги в сердце (так как представлял себе, в какое замешательство повергнет этим свою милую фарфоровую пастушку) – и подал руку Елене Ландлес. Проходя по старинным улицам, брат и сестра с восторгом разглядывали все, что им показывал мистер Криспаркл – собор, развалины монастыря, – и всему дивились, как могли бы дивиться европейской цивилизации двое юных варваров, взятых в полон в какой-нибудь дикой тропической стране (мистер Криспаркл не преминул отметить про себя это сходство). Мистер Сластигрох шествовал по самой середине тротуара, сталкивая со своего пути попадавшихся навстречу туземцев, и громким голосом излагал

задуманный им план: переарестовать за одну ночь всех безработных в Соединенном королевстве, запереть их в тюрьму и принудить, под угрозой немедленного истребления, заняться благотворительностью.

Но кто воистину был достоин жалости и благотворительной поддержки – это бедная миссис Криспаркл, когда она увидела перед собой это столь просторное и столь громогласное прибавление к их маленькой компании. Мистер Сластигрох и всегда-то был вроде чирья на лице общества, а в Доме младшего каноника он обернулся злокачественным карбункулом. Хотя, может быть, и не совсем достоверно то, что рассказывают про него некоторые скептики – будто он возгласил однажды, обращаясь к своим ближним: «Ах, будьте вы все прокляты, идите сюда и возлюбите друг друга!», – все же его любовь к ближнему настолько припахивала порохом, что трудно было отличить ее от ненависти. Нужно упразднить армию, но сперва всех офицеров, честно исполнявших свой долг, предать военному суду и расстрелять. Нужно прекратить войны, но сперва завоевать все прочие страны, обвинив их в том, что они чересчур любят войну. Нужно отменить смертную казнь, но предварительно смести с лица земли всех членов парламента, юристов и судей, придерживающихся иного мнения. Нужно добиваться всеобщего согласия, но сперва истребить всех, кто не хочет или, по совести, не может с вами согласиться. Надо возлюбить ближнего, как самого себя, но лишь после того, как вы его оклеветаете (с не меньшим усердием, чем если бы вы его ненавидели), оболъете помоями и осыплете бранью. А главное, ничего нельзя делать в одиночку, по собственному разумению. Надо пойти в канцелярию, в Главное Прибежище Филантропии, и записаться в члены. Затем уплатить членские взносы, получить членскую карточку, ленточку и медаль, и в дальнейшем проводить свою жизнь на трибуне, и всегда говорить то, что сказал мистер Сластигрох, то, что сказал казначей и помощник казначея, то, что сказал комитет и подкомитет, и секретарь, и помощник секретаря. А что они все говорят, это вы можете прочитать в принятой

единогласно резолюции, за подписями и печатью, каковая резолюция устанавливает, что: «Ныне собравшиеся в полном составе члены «Общества воинствующих филантропов» с возмущением и негодованием, а также с презрением, омерзением и отвращением» и так далее взирают на гнусность и низость всех не принадлежащих к обществу, и обязуются говорить про них всякие гадости, и возводить на них самые тяжкие обвинения, не слишком считаясь с фактами.

Обед прошел более чем неудачно. Филантроп нарушил всякий порядок за столом, уселся на самом ходу, всем и всему мешая, и довел мистера Топа (взявшегося помогать горничной) до иступления тем, что передавал гостям блюда и тарелки через собственную голову. Никто не мог ни с кем перемолвиться словом, так как мистер Сластигрох все время говорил сам, обращаясь ко всем вместе, словно был не в гостях, а на митинге. А мистера Криспаркла он облюбовал как своего официального противника – так сказать, живой гвоздь, чтобы вешать на него свою ораторскую шляпу, – причем, по скверной привычке таких ораторов, заранее рассматривал его как личность злокозненную и слабоумную. Так, например, он вопрошал: «Не собираетесь ли вы, сэр, выставить себя на посмешище, утверждая, что» – и так далее, в то время как кроткий мистер Септимус не только не раскрывал рта, но даже не делал попытки его раскрыть. Или же он говорил: «Теперь вы видите, сэр, что вы приперты к стене. Я не оставлю вам ни единой лазейки. После того как год за годом вы изощрялись в обмане и мошенничестве; после того как год за годом вы проявляли бесчестную низость в сочетании с кровожадной наглостью; после всего этого вы лицемерно преклоняете колени перед отребьями человечества и с визгом и воем молитесь о пощаде!» Во время таких тирад на лице злополучного младшего каноника изображалось попеременно то возмущение, то изумление; его почтенная мать сидела со слезами на глазах; а остальные гости впадали в какое-то

студнеподобное состояние, утрачивая дар речи и всякую способность сопротивляться.

Но какие потоки благожелательства излились на мистера Сластигроха, когда приблизился час его отъезда, – они, без сомнения, порадовали сердце этого проповедника любви к ближнему! Стараниями мистера Топа кофе ему подали на час раньше, чем требовалось. Мистер Криспаркл сидел возле него с часами в руке, чтобы он, не дай бог, как-нибудь не опоздал. Молодежь – все четверо – единодушно показали, что соборные часы отзвонили уже три четверти (тогда как на самом деле они пробили только одну). Мисс Твинклтон подсчитала, что до стоянки дилижанса идти надо двадцать пять минут, хотя на самом деле хватило бы и пяти. Его с такой заботливой поспешностью втиснули общими силами в пальто и выпихнули на улицу, как если б он был беглым преступником, которого надо спасать, и топот конной полиции уже слышался у черного хода. Мистер Криспаркл и его новый питомец, провожавшие мистера Сластигроха до дилижанса, так боялись, чтобы он не простудился, что немедленно захлопнули за ним дверцу и покинули его, хотя до отъезда оставалось не меньше получаса.

Глава VII

Исповедь, и притом не одна

– Я очень мало знаю, сэр, об этом господине, – сказал Невил младшему канонику, когда они шли обратно.

– Очень мало знаете о вашем опекуне? – удивленно повторил младший каноник.

– Почти что ничего.

– А как же он...

– Стал моим опекуном? Я вам объясню, сэр. Вы, вероятно, знаете, что мы с сестрой родились и выросли на Цейлоне?

– Понятия не имел.

– Странно. Мы жили там у нашего отчима. Наша мать умерла, когда мы были совсем маленькие. Жилось нам плохо. Она назначила его нашим опекуном, а он оказался отвратительным скрягой, скупился нам на еду и на одежду. Умирая, он препоручил нас этому мистеру Сластигроху, уж не знаю почему – кажется, тот был каким-то его родственником или знакомым, а может быть, просто ему примелькалось это имя, потому что часто встречалось в газетах.

– Это, очевидно, было недавно?

– Да, совсем недавно. Наш отчим был не только скуп, но и жесток, настоящая скотина. Хорошо, что он умер, а то бы я его убил.

Мистер Криспаркл остановился как вкопанный и воззрился на освещенное луной лицо своего многообещающего питомца.

– Вы удивлены, сэр? – спросил тот, снова становясь кротким и почтительным.

– Я потрясен... потрясен до глубины души.

Невил понурил голову, и с минуту они шли молча. Потом юноша сказал:

– Вам не приходилось видеть, как он бил вашу сестру. А я видел, как он бил мою – и не раз и не два, – и этого я никогда не забуду.

– Ничто, – проговорил мистер Криспаркл, – даже слезы любимой красавицы сестры, вырванные у нее позорно жестоким обращением, – тон его становился все менее строгим по мере того, как он все живее представлял себе эту картину, – ничто не может оправдать ужасных слов, которые вы сейчас произнесли.

– Сожалею, что их произнес, в особенности говоря с вами, сэра. Беру их назад. Но в одном разрешите вас поправить. Вы сказали – слезы сестры. Моя сестра скорее дала бы разорвать себя на куски, чем обронила перед ним хоть одну слезинку.

Мистер Криспаркл вспомнил свои впечатления от этой молодой особы, и сказанное его не удивило и не вызвало в нем сомнений.

– Вам, может быть, покажется странным, сэра, – нерешительно продолжал юноша, – что я так сразу исповедуюсь перед вами, но позвольте мне сказать два слова в свою защиту.

– Защиту? – повторил мистер Криспаркл. – Вас никто не судит, мистер Невил.

– А мне кажется, что вы все-таки судите. И наверно, осудили бы, если бы лучше знали мой нрав.

– А может быть, мистер Невил, – отозвался младший каноник, – подождем, пока я сам в этом разберусь?

– Как вам угодно, сэра, – ответил юноша, снова разом меняясь; теперь в голосе его звучало угрюмое разочарование. – Если вы предпочитаете, чтобы я молчал, мне остается только покориться.

Было что-то в этих словах и в том, как они были сказаны, что больно укололо совестливого младшего каноника. Ему вдруг почудилось, что он, помимо своей воли, убил доверие, только что зарождавшееся в этом искалеченном юном сознании, и тем лишил себя возможности направлять его и оказывать ему поддержку. Они уже подходили к дому; в окнах был виден свет. Мистер Криспаркл остановился.

– Давайте-ка повернем назад, мистер Невил, и пройдемся еще раз вокруг собора, а то вы не успеете все мне рассказать. Вы

слишком поторопились сделать вывод, будто я не хочу вас слушать. Наоборот, я призываю вас подарить мне свое доверие!

– Вы призывали меня к этому, сэр, сами того не ведая, с первых же минут нашего знакомства. Я говорю так, словно мы уже неделю знакомы!.. Видите ли, мы с сестрой ехали сюда с намерением вызвать вас на ссору, надерзить вам и убежать.

– Да-а? – протянул мистер Криспаркл, не зная, что на это ответить.

– Мы ведь не могли знать заранее, какой вы. Ведь правда?

– Ну конечно, – согласился мистер Криспаркл.

– А так как никто из тех, кого мы до сих пор знали, нам не нравился, то мы решили, что и вы нам не понравитесь.

– Да-а? – опять протянул мистер Криспаркл.

– Но вы нам понравились, сэр, и мы увидели, что ват дом и то, как вы нас приняли, ничуть не похоже на все, с чем мы раньше сталкивались. Ну и вот это – то, что мы тут с вами одни, и кругом стало так тихо и спокойно после отъезда мистера Сластигроха, и Клойстергэм в лунном свете такой древний, и торжественный, и красивый, – все это так на меня подействовало, что мне захотелось открыть вам сердце.

– Понимаю, мистер Невил. И не надо противиться этим благотворным влияниям.

– Когда я буду говорить о своих недостатках, сэр, пожалуйста, не думайте, что это относится и к моей сестре. Сквозь все испытания нашей несчастной жизни она прошла нетронутой, она настолько же лучше меня, насколько соборная башня выше вон тех труб!

В глубине души мистер Криспаркл в этом усомнился.

– Сколько я себя помню, мне всегда приходилось подавлять кипевшую во мне злобную ненависть. Это сделало меня замкнутым и мстительным. Всегда меня гнула к земле чья-нибудь деспотическая, тяжелая рука. Это заставляло меня прибегать к обману и притворству, оружию слабых. Меня урезывали во всем – в учении, свободе, деньгах, одежде, в самом необходимом, я был лишен

самых простых удовольствий детства, самых законных радостей юности. И поэтому во мне начисто отсутствуют те чувства – или те воспоминания, или те добрые побуждения (видите, я даже не знаю, как это назвать!) – одним словом, все, на что вы могли опираться в тех молодых людях, с которыми привыкли иметь дело.

«Это, должно быть, правда. Но меня это не очень-то обнадеживает», – подумал мистер Криспаркл, когда они повернули к дому.

– И еще одно, чтобы уж кончить. Я рос среди слуг-туземцев, людей примитивной расы, приниженных и раболепных, но вовсе не укрощенных, и, может быть, что-то от них перешло и ко мне. Иногда – не знаю! – но иногда я чувствую в себе каплю той тигриной крови, что течет в их жилах.

«Как только что, когда он говорил о своем отчине», – подумал мистер Криспаркл.

– Еще последнее слово о моей сестре (мы с ней близнецы, сэра). Мне хочется, чтобы вы знали то, что, по-моему, служит к ее величайшей чести: никакая жестокость не могла заставить ее покориться, хотя меня частенько смиряла. Когда мы убегали из дому (а мы за шесть лет убегали четыре раза, только нас опять ловили и жестоко наказывали), всегда она составляла план бегства и была вожаком. Всякий раз она переодевалась мальчиком и выказывала отвагу взрослого мужчины. В первый раз мы удрали, кажется, лет семи, но я, как сейчас, помню – я тогда потерял перочинный ножик, которым она хотела отрезать свои длинные кудри, и с каким же отчаянием она пыталась их вырвать или перегрызть зубами! Больше мне нечего прибавить, сэра, разве только выразить надежду, что вы запасетесь терпением и хоть на первых порах будете снисходительны ко мне.

– В этом, мистер Невил, вы можете не сомневаться, – ответил младший каноник. – Я не люблю поучать и не отвечу проповедью на ваши искренние признания. Но я очень прошу вас помнить, что я смогу принести вам пользу, только если и вы сами будете мне в этом

помогать; а для того чтобы ваша помощь была действенной, вы сами должны искать помощи у Бога.

– Постараюсь выполнить свою часть дела, сэра.

– А я, мистер Невил, постараюсь выполнить свою. Вот вам моя рука. Да благословит Господь наши начинания!

Теперь они стояли у самых дверей, и из дому к ним доносился смех и веселый говор.

– Пройдемся еще раз, – сказал мистер Криспаркл, – я хочу задать вам один вопрос. Когда вы сказали, что ваше мнение обо мне изменилось, вы ведь говорили не только за себя, но и за сестру?

– Конечно, сэра.

– Простите, мистер Невил, но, по-моему, после того, как мы встретились возле дилижанса, у вас не было случая переговорить с сестрой. Мистер Сластигрох, конечно, человек очень красноречивый, но, не в осуждение ему будь сказано, сегодня он несколько злоупотребил своим красноречием. Не может ли быть, что вы ручаетесь за сестру без достаточных к тому оснований?

Невил горделиво улыбнулся и покачал головой:

– Вы не знаете, сэра, как хорошо мы с сестрой понимаем друг друга – для этого нам не нужно слов, довольно взгляда, а может быть, и того не нужно. Она не только испытывает к вам именно те чувства, какие я описал, она уже знает, что сейчас я говорю с вами об этом.

Мистер Криспаркл устремил на него недоверчивый взгляд, но лицо юноши выражало такую непоколебимую убежденность в истине того, что им было сказано, что мистер Криспаркл потупился и в раздумье молчал, пока они не подошли к дому.

– А теперь уже я буду просить вас, сэра, пройтись со мною еще разок, – сказал Невил, и видно было, как темный румянец залил его щеки. – Если бы не красноречие мистера Сластигроха – вы, кажется, назвали это красноречием, сэра?.. – В голосе юноши прозвучала лукавая усмешка.

– Я... гм! Да, я назвал это красноречием, – ответил мистер Криспаркл.

– Если бы не красноречие мистера Сластигроха, мне не было бы надобности вас спрашивать. Этот мистер Эдвин Друд... я правильно произношу его имя?..

– Вполне правильно, – отвечал мистер Криспаркл. – Д-р-у-д.

– Он что, тоже ваш ученик? Или был вашим учеником?

– Нет, никогда не был, мистер Невил. Просто он иногда приезжает сюда к своему родственнику, мистеру Джасперу.

– А мисс Буттон тоже его родственница?

«Почему он это спрашивает, да еще с таким высокомерием?» – подумал мистер Криспаркл. Затем рассказал Невилу все, что сам знал о помолвке Розового Бутончика.

– Ах вот что! – проговорил юноша. – То-то он так с ней держится – словно она его собственность. Теперь понимаю.

Он сказал это как бы про себя или, во всяком случае, обращаясь к кому-то, кого здесь не было, а не к своему собеседнику, и мистер Криспаркл почувствовал, что отвечать не надо – это было бы так же неделикатно, как показать человеку, пишущему письмо, что ты случайно прочитал несколько строк через его плечо. Минуту спустя они уже входили в дом.

Когда они вошли в гостиную, мистер Джаспер сидел за пианино и сопровождал Розовому Бутончику, а она пела. Потому ли, что, играя наизусть, он не имел надобности смотреть на пюпитр, или потому, что Роза была такое невнимательное маленькое создание и легко могла сбиться, но глаза Джаспера не отрывались от ее губ, а руки словно держали на невидимой привязи ее голос, время от времени осторожным нажимом на клавишу заботливо и настойчиво выделяя нужную ноту. Рядом с Розой и обнимая ее за талию стояла Елена, глядя, однако, не на нее, а – прямо и упорно – на мистера Джаспера; только на миг отвела она глаза, и мистеру Криспарклу показалось, что в быстром ее взгляде, обращенном к брату, сверкнуло то мгновенное и глубокое понимание, о котором только

что говорил Невил. Затем мистер Невил поместился поодаль, прислонясь к пианино и устремив восхищенный взгляд на стоявшую напротив певицу; мистер Криспаркл сел возле фарфоровой пастушки; Эдвин Друд, склонясь над мисс Твинклтон, галантно обмахивал ее веером, а эта почтенная леди взирала на демонстрацию талантов своей пансионерки с тем удовлетворенным видом собственника, с каким главный жезлоносец мистер Топ оглядывал собор во время богослужения.

Пение продолжалось. Роза пела какую-то печальную песенку о разлуке, и ее свежий юный голосок звучал нежно и жалобно. А Джаспер по-прежнему неотступно следил за ее губами и по-прежнему время от времени задавал тон, словно тихо и властно шептал ей что-то на ухо, – и голос певицы, чем дальше, тем чаще, стал вздрагивать, готовый сорваться; внезапно она разразилась рыданиями и вскричала, закрыв лицо руками:

– Я больше не могу! Я боюсь! Уведите меня отсюда!

Одним быстрым гибким движением Елена подхватила хрупкую красавицу и уложила ее на диван. Потом, опустившись перед нею на колени, она зажала одной рукой ее розовые губки, а другую простерла к гостям, как бы удерживая их от вмешательства, и сказала:

– Это ничего! Это уже прошло! Не говорите с ней минутку, она сейчас оправится!

В ту минуту, когда поющий голос умолк, руки Джаспера взметнулись над клавишами – и в этом положении застыли, как будто он только выдерживал паузу, готовый продолжать. Он сидел неподвижно; даже не обернулся, когда все встали с места, взволнованно переговариваясь и успокаивая друг друга.

– Киска не привыкла петь перед чужими – вот в чем все дело, – сказал Эдвин Друд. – Разнервничалась, ну и оробела. Да и то сказать – ты, Джек, такой строгий учитель и так много требуешь от своих учеников, что, по-моему, она тебя боится. Неудивительно!

– Неудивительно, – откликнулась Елена.

– Ну вот, слышишь, Джек? Пожалуй, при таких же обстоятельствах и вы бы его испугались, мисс Ландлес?

– Нет. Ни при каких обстоятельствах, – отвечала Елена.

Джаспер опустил наконец руки и, оглянувшись через плечо, поблагодарил мисс Ландлес за то, что она замолвила словечко в его защиту. Потом снова стал играть, но беззвучно, не нажимая клавиш. А его юную ученицу тем временем подвели к открытому окну, чтобы она могла подышать свежим воздухом, и все наперебой ласкали ее и успокаивали. Когда ее привели обратно, табурет у пианино был пуст.

– Джек ушел, Киска, – сказал ей Эдвин. – Ему, я думаю, было неприятно, что его тут выставили каким-то чудищем, способным напугать тебя до обморока.

Но она ничего не ответила, только дрожь прошла по ее телу – бедняжку, должно быть, застудили у открытого окна.

Тут вмешалась мисс Твинклтон; она выразила мнение, что час уже очень поздний и ей с Розой и мисс Ландлес давно бы следовало быть в стенах Женской Обители, ибо мы, на ком лежит забота о воспитании будущих английских жен и матерей (эти слова она произнесла вполголоса, доверительно обращаясь к миссис Криспаркл), мы должны (тут она снова возвысила голос) показывать добрый пример и не поощрять привычек к распущенности. После чего были принесены мантильи, и оба молодых джентльмена вызвались проводить дам. Путь до Женской Обители был недолог, и вскоре ее врата затворились за вернувшимися к своим пенатам гостьями.

Девушки уже спали, только миссис Тишер одиноко бодрствовала, поджидая новую пансионерку. Их тут же познакомили, а так как для новенькой была отведена комната, смежная с комнатой Розы, то после кратких напутствий Елену оставили на попечении подруги и простились с обеими до утра.

– Какое счастье, милочка, – с облегчением сказала Елена. – Весь день я боялась этой минуты – думала, как-то я встречу с целой

толпой молодых девиц.

– Нас не так уж много, – ответила Роза. – И мы, в общем, добрые девочки. Я не говорю о себе, но за остальных могу поручиться.

– А я могу поручиться за вас, – рассмеялась Елена, заглядывая своими черными огненными глазами в хорошенькое личико Розы и нежно обнимая ее хрупкий стан. – Мы с вами будем друзьями, да?

– Ах, я бы очень хотела! Но только ведь это смешно, я – и вдруг ваша подруга!

– Почему?

– Ну я же такая каплюшка, а вы красавица, умница, настоящая женщина. Вы такая сильная и решительная, вы одним пальцем можете меня смять. Рядом с вами я ничто.

– Дорогая моя, я совсем необразованна и очень дурно воспитанна – ничего не знаю из того, что полагается знать девушке, ничего не умею! Я очень хорошо понимаю, что всему еще должна учиться, и горько стыжусь своего невежества.

– И однако, признайтесь мне в этом!

– Что делать, милочка, никто не может противиться вашему обаянию.

– Ах, значит, все-таки есть во мне обаяние? – не то в шутку, не то всерьез проговорила Роза, надув губки. – Жаль, что Эдди этого не чувствует.

Об отношении Розового Бутончика к этому молодому человеку Елену, конечно, уже успели осведомить в Доме младшего каноника.

– Да как он смеет!.. – воскликнула Елена с горячностью, которая не сулила ничего доброго Эдвину в случае, если бы он посмел. – Он должен любить вас всем сердцем!

– Да он, пожалуй, и любит, – протянула Роза, снова надувая губки. – Я его ни в чем не могу упрекнуть. Может быть, я сама виновата. Может быть, я не так мила с ним, как мне бы следовало. И даже наверное. Но все это так смешно!

«Что смешно?» – взглядом спросила Елена.

– Мы смешны, – ответила Роза на ее немой вопрос. – Мы такая смешная парочка. И мы вечно ссоримся.

– Почему?

– Ну потому, что мы знаем, что мы смешны. – Роза сказала это таким тоном, как будто дала исчерпывающее объяснение.

Секунду Елена испытующе глядела ей в лицо, потом протянула к ней руки.

– Ты будешь моим другом и поможешь мне? – сказала она.

– Господи, милочка, конечно, – откликнулась Роза с детской ласковостью, проникшей в самое сердце Елены. – Я постараюсь быть тебе верной подругой, насколько такая пичужка, как я, может быть другом такого гордого существа, как ты. Но и ты тоже помоги мне. Я сама себя не понимаю, и мне очень нужен друг, который бы меня понял.

Елена Ландлес поцеловала ее и, не отпуская ее рук, спросила:

– Кто такой мистер Джаспер?

Роза отвернула головку и проговорила, глядя в сторону:

– Дядя Эдвина и мой учитель музыки.

– Ты его не любишь?

– Ух! – Она закрыла лицо руками, содрогаясь от страха или отвращения.

– А ты знаешь, что он влюблен в тебя?

– Не надо, не надо!.. – вскричала Роза, падая на колени и прижимаясь к своей новой защитнице. – Не говори об этом! Я так его боюсь. Он преследует меня как страшное привидение. Я нигде не могу укрыться от него. Стоит кому-нибудь назвать его имя, и мне чудится, что он сейчас пройдет сквозь стену. – Она испуганно оглянулась, словно и в самом деле боялась увидеть его в темном углу за своей спиной.

– Все-таки постарайся, милочка, еще рассказать о нем.

– Да, да, я постараюсь. Я расскажу. Потому что ты такая сильная. Но ты держи меня крепко и после не оставляй одну.

– Деточка моя! Ты так говоришь, словно он осмелился угрожать тебе.

– Он никогда не говорил со мной об *этом*. Никогда.

– А что же он делал?

– Он только смотрел на меня – и я становилась его рабой. Сколько раз он заставлял меня понимать его мысли, хотя не говорил ничего, сколько раз он приказывал мне молчать, хотя не произносил ни слова. Когда я играю, он не отводит глаз от моих пальцев; когда я пою, он не отрывает взгляда от моих губ. Когда он меня поправляет и берет ноту или аккорд или проигрывает пассаж – он сам в этих звуках, он шепчет мне о своей страсти и запрещает выдавать его тайну. Я никогда не смотрю ему в глаза, но я все равно их вижу, он меня заставляет. Даже когда они у него вдруг тускнеют (это бывает) и он словно куда-то уходит, в какую-то страшную грезу, где творятся я не знаю какие ужасы, – даже тогда он держит меня в своей власти: я все понимаю, что с ним происходит, и все время чувствую, что он сидит рядом и угрожает мне. Как я его тогда боюсь!

– Да что же это за угроза, деточка? Чем он грозит?

– Не знаю. Я никогда не решалась даже подумать об этом.

– И сегодня вечером так было?

– Да. Только еще хуже. Сегодня, когда я пела, а он смотрел на меня, я не только боялась, мне было стыдно и мерзко. Как будто он целовал меня, а я ничего не могла сделать – вот тогда я и закричала... Только, ради Бога, никому ни слова об этом! Эдди так к нему привязан. Но ты сказала сегодня, что не испугалась бы его ни при каких обстоятельствах, вот я и набралась смелости рассказать, но только тебе одной. Держи меня крепче! Не уходи! А то я умру от страха!

Яркое смуглое лицо склонилось над прижавшейся к коленям подруги светлой головкой, густые черные кудри, как хранительный покров, ниспали на полудетские руки и плечики. В черных глазах зажглись странные отблески – как бы дремлющее до поры пламя,

сейчас смягченное состраданием и любовью. Пусть побережется тот, кого это ближе всех касается!

Глава VIII

Кинжалы обнажены

Оба молодых человека, проводив дам, еще минуту стоят у запертых ворот Женской Обители: медная дощечка вызывающе сверкает в лунном свете, как будто дряхлый щеголь, о котором уже шла речь, дерзко уставил на них свой монокль; молодые люди смотрят друг на друга, потом на уходящую вдаль, озаренную луной улицу и лениво направляются обратно к собору.

– Вы еще долго здесь прогостите, мистер Друд? – говорит Невил.

– На этот раз нет, – небрежно отвечает Эдвин. – Завтра возвращаюсь в Лондон. Но я еще буду приезжать время от времени – до середины лета. А тогда уж распрощаюсь с Клойтергэмом и с Англией – и, должно быть, надолго.

– Думаете уехать в чужие края?

– Да, собираюсь немножко расшевелить Египет, – снисходительно роняет молодой инженер.

– А сейчас изучаете какие-нибудь науки?

– Науки! – с оттенком презрения повторяет Эдвин. – Нет, я не корплю над книгами. Это не по мне. Я действую, работаю, знакоюсь с машинами. Мой отец оставил мне пай в промышленной фирме, в которой был компаньоном; и я тоже займу в ней свое скромное место, когда достигну совершеннолетия. А до тех пор Джек – вы его видели за обедом – мой опекун и попечитель. Это для меня большая удача.

– Я слышал от мистера Криспаркла и о другой вашей удаче.

– А что вы, собственно, этим хотите сказать? Какая еще удача?

Невил сделал свое замечание с той характерной для него манерой, которая уже была отмечена мистером Криспарклом, – с вызовом и вместе как-то настороженно, что делало его похожим одновременно и на охотника и на того, за кем охотятся. Но ответ

Эдвина был так резок, что выходил уже из границ вежливости. Оба останавливаются и меряют друг друга неприязненными взглядами.

– Надеюсь, мистер Друд, – говорит Невил, – для вас нет ничего оскорбительного в моем невинном упоминании о вашей помолвке?

– А черт! – восклицает Эдвин и снова, уже учащенным шагом, идет дальше. – В этом болтливом старом городишке каждый считает своим долгом упомянуть о моей помолвке. Удивляюсь еще, что какой-нибудь трактирщик не догадался намалевать на вывеске мой портрет с подписью: «Жених». Или Кискин портрет с подписью: «Невеста».

– Я не виноват, – снова заговаривает Невил, – что мистер Криспаркл, вовсе не делая из этого секрета, рассказал мне о вашей помолвке с мисс Буттон.

– Да, в этом вы, конечно, не виноваты, – сухо подтверждает Эдвин.

– Но я виноват, – продолжает Невил, – что заговорил об этом с вами. Я не знал, что это для вас обидно. Мне казалось, что вы можете этим только гордиться.

Две любопытных черточки человеческой природы проявляются в этом словесном поединке и составляют его тайную подоплеку. Невил Ландлес уже равнодушен к Розовому Бутончику и поэтому негодует, видя, что Эдвин Друд (который ее не стоит) так мало ценит свое счастье. А Эдвин Друд уже равнодушен к Елене и поэтому негодует, видя, что ее брат (который ее не стоит) так высокомерно обходится с ним, Эдвином, и, судя по всему, ни в грош его не ставит.

Однако это последнее язвительное замечание требует ответа. И Эдвин говорит:

– Я не уверен, мистер Невил (он заимствует это обращение у мистера Криспаркла), что если человек чем-то гордится больше всего на свете, так уж он должен кричать об этом на всех перекрестках. И я не уверен, что если он чем-то гордится больше всего на свете, то ему так уж приятно, когда об этом судачит всякий встречный и поперечный. Но я до сих пор вращался главным

образом в деловых кругах, где мыслят просто, и я могу ошибаться. Это вам, ученым, полагается все знать, ну и вы, конечно, все знаете.

Теперь уж оба кипят гневом – Невил открыто, Эдвин Друд – притворяясь равнодушным и то напевая модный романс, то останавливаясь, чтобы полюбоваться живописными эффектами лунного освещения.

– Мне кажется, – говорит наконец Невил, – что это не слишком учтиво с вашей стороны – насмехаться над чужестранцем, который, не имея преимуществ вашего воспитания, приехал сюда в надежде наверстать потерянное время. Но я, правда, никогда не возвращался в деловых кругах – мои понятия об учтивости слагались среди язычников.

– Самая лучшая форма учтивости, независимо от того, где человек воспитывался, – возражает Эдвин, – это не совать нос в чужие дела. Если вы покажете мне пример, обещаю ему последовать.

– А не слишком ли много вы на себя берете? – раздается ему в ответ. – Знаете ли вы, что в той части света, откуда я прибыл, вас за такие слова притянули бы к ответу?

– Кто бы это, например? – спрашивает Эдвин, круто останавливаясь и окидывая Невила надменным взглядом.

Но тут на его плечо неожиданно ложится чья-то рука – Джаспер стоит между ними. Он, видно, бродил где-то возле Женской Обители, скрытый в тени домов, и теперь незаметно подошел сзади.

– Нэд, Нэд! – говорит он. – Довольно! Мне это не нравится. Я слышал резкие слова! Вспомни, мой дорогой мальчик, что ты сейчас как бы в положении хозяина. Ты не чужой в этом городе, а мистер Невил здесь гость, так не забывай же о долге гостеприимства. А вы, мистер Невил, – при этом он кладет другую руку на плечо юноши, и так они идут дальше, те двое по бокам, Джаспер посередине, – вы меня простите, но я и вас попрошу быть сдержаннее. Что тут у вас произошло? Но к чему спрашивать? Ничего, конечно, не произошло, и никаких объяснений не нужно. Мы и так понимаем друг друга, и отныне между нами мир. Так, что ли?

Минуту оба молодых человека молчат, выжидая, кто заговорит первый. Потом Эдвин Друд отвечает:

– Что касается меня, Джек, то я больше не сержусь.

– Я тоже, – говорит Невил Ландлес, хотя и не так охотно или, может быть, не так небрежно. – Но если бы мистер Друд знал мою прежнюю жизнь – там, в далеких краях, – он, возможно, понял бы, почему резкое слово иногда режет меня как ножом.

– Знаете, – успокаивающе говорит Джаспер, – пожалуй, лучше не вдаваться в подробности. Мир так мир, а делать оговорки, ставить условия – это как-то невеликодушно. Вы слышали, мистер Невил, – Нэд добровольно и чистосердечно заявил, что больше не сердится. А вы, мистер Невил? Скажите, – добровольно и чистосердечно, – вы больше не сердитесь?

– Нисколько, мистер Джаспер. – Однако говорит он это не так уж добровольно и чистосердечно, а может быть, повторяем, не так небрежно.

– Ну, стало быть, и кончено. А теперь я вам вот что скажу: моя холостяцкая квартира в двух шагах отсюда, и чайник уже на огне, а вино и стаканы на столе, а до Дома младшего каноника от меня минута ходу. Нэд, ты завтра уезжаешь. Пригласим мистера Невила выпить с нами стакан глинтвейна, разопьем, так сказать, прощальный кубок?

– Буду очень рад, Джек.

– Буду очень рад, мистер Джаспер. – Невил понимает, что иначе ответить нельзя, но идти ему не хочется. Он чувствует, что еще плохо владеет собой; спокойствие Эдвина Друда, вместо того чтобы и его успокоить, вызывает в нем раздражение.

Джаспер, по-прежнему идя в середине между обоими юношами и держа руки у них на плечах, затягивает своим звучным голосом припев к застольной песне, и все трое поднимаются к нему в комнату. Первое, что они здесь видят, когда к пламени горящих дров прибавляется свет зажженной лампы, это портрет над камином. Вряд ли он может способствовать согласию между юношами, ибо,

совсем некстати, напоминает о том, что впервые возбудило в них враждебное чувство. Поэтому оба хотя и поглядывают на портрет, но украдкой и молча. Однако мистер Джаспер, который, должно быть, слышал на улице не все и не разобрался в причинах ссоры, тотчас привлекает к нему их внимание.

– Узнаете, кто это, мистер Невил? – спрашивает он, поворачивая лампу так, что свет падает на изображение над камином.

– Узнаю. Но это неудачный портрет, он несправедлив к оригиналу.

– Вот какой вы строгий судья! Это Нэд написал и подарил мне.

– Простите, ради бога, мистер Друд! – Невил искренне огорчен своим промахом и стремится его загладить. – Если б я знал, что нахожусь в присутствии художника...

– Да это же так, в шутку, написано, – лениво перебивает его Эдвин Друд, подавляя зевок. – Просто для смеха. Так сказать, Киска в юмористическом освещении. Но когда-нибудь я напишу ее всерьез, если, конечно, она будет хорошо вести себя.

Все это он говорит со скучающим видом, развалившись в кресле и заложив руки за голову, и его небрежно-снисходительный тон еще больше раздражает вспылчивого и уже готового вспылить Невила. Джаспер внимательно смотрит сперва на одного, потом на другого, чуть-чуть усмехается и, отвернувшись к камину, приступает к изготовлению пунша. Это, по-видимому, очень сложная процедура, которая отвлекает его надолго.

– А вы, мистер Невил, – говорит Эдвин, тотчас же прочитав негодование на лице молодого Ландлеса, ибо оно не менее доступно глазу, чем портрет на стене, или камин, или лампа, – если бы вздумали нарисовать свою возлюбленную...

– Я не умею рисовать, – резко перебивает тот.

– Ну это уж ваша беда, а не ваша вина. Умели б, так нарисовали б. Но если бы вы умели, то, независимо от того, какова она, вы бы, наверно, изобразили ее Юноной, Минервой, Дианой и Венерой в одном лице?

– У меня нет возлюбленной, так что я не могу вам сказать.

– Вот если бы я взялся писать портрет мисс Ландлес, – говорит Эдвин с юношеской самоуверенностью, – и, конечно, всерьез, только всерьез, – тогда вы бы увидели, что я могу!

– Для этого нужно еще, чтобы она согласилась вам позировать. А так как она никогда не согласится, то, боюсь, я никогда не увижу, что вы можете. Уж как-нибудь примирюсь с такой потерей.

Мистер Джаспер, закончив свои манипуляции у камина, поворачивается к гостям, наливает большой бокал для Невила, другой, такой же, для Эдвина и подает им. Потом наливает третий для себя и говорит:

– Ну, мистер Невил, выпьем за моего племянника. Так как, образно выражаясь, его нога уже в стремях, эту прощальную чашу надо посвятить ему. Нэд, дорогой мой, за твое здоровье!

Он первый залпом выпивает почти весь бокал, оставив лишь немного на донышке. Невил делает то же самое. Эдвин говорит:

– Благодарю вас обоих, – и следует их примеру.

– Посмотрите на него! – с восхищением и нежностью, но и с добродушной насмешкой восклицает Джаспер, протягивая руку к Эдвину; он и любуется им и слегка над ним подтрунивает. – Посмотрите, мистер Невил, с какой царственной небрежностью он раскинулся в кресле! Этаким баловень счастья! Весь мир у его ног, выбирай что хочешь! Какая жизнь ему предстоит! Увлекательная, интересная работа, путешествия и новые яркие впечатления, любовь и семейные радости! Посмотрите на него!

Лицо Эдвина Друда как-то уж очень быстро и сильно покраснелось от выпитого вина; также и лицо Невила Ландлеса. Эдвин по-прежнему лежит в кресле, сплетя руки на затылке и опираясь на них головой, как на подушку.

– И как мало он это ценит! – все так же, словно поддразнивая, продолжает Джаспер. – Ему лень даже руку протянуть, чтобы сорвать золотой плод, что зреет для него на ветке. А какая разница между ним и нами, мистер Невил. Нам с вами будущее не сулит ни увлекательной работы, ни перемен и новых впечатлений, ни любви

и семейных радостей. У нас с вами (разве только вам больше повезет, чем мне, это, конечно, возможно), но пока что у нас с вами впереди лишь унылый круг скучнейших ежедневных занятий в этом унылом, скучнейшем городишке, где ничто никогда не меняется!

– Честное слово, Джек, – самодовольно говорит Эдвин, – мне даже совестно, прямо хоть прощения проси за то, что у меня все так гладко. То есть это ты сейчас говоришь, будто все гладко, – а на самом деле, я знаю и ты знаешь, что оно вовсе не так. Что, Киска? – Он щелкает пальцами, глядя на портрет. – Пожалуй, кое-что придется еще разглаживать. А, Киска? Ты, Джек, понимаешь, о чем я говорю.

Язык у него уже плохо ворочается и рот словно кашей набит. Джаспер, сдержанный и спокойный, как всегда, взглядывает на Невилу, как бы ожидая от него ответа или возражения. Когда тот заговаривает, язык у него тоже плохо ворочается и рот словно набит кашей.

– По-моему, мистеру Друду полезно было бы испытать лишения! – с вызовом говорит он.

– А почему, – отвечает Эдвин, не меняя позы, только глазами поведя в его сторону, – почему мистеру Друду было бы полезно испытать лишения?

– Да, почему? – любознательно осведомляется Джаспер. – Объясните нам, мистер Невил.

– Потому что тогда он бы понял, что если ему привалило такое счастье, так это еще не значит, что он его заслужил.

Мистер Джаспер быстро взглядывает на племянника, ожидая ответа.

– А сами-то вы испытали лишения? – спрашивает Эдвин Друд, выпрямляясь в кресле.

Мистер Джаспер быстро взглядывает на Невилу.

– Испытал.

– И что же вы поняли?

Глаза мистера Джаспера все время перебегают с одного собеседника на другого, и эта быстрая игра выжидательных взглядов

продолжается до конца разговора.

– Я уже вам сказал – еще там, на улице.

– Что-то не слышал.

– Нет, вы слышали. Я сказал, что вы слишком много на себя берете.

– Кажется, вы еще что-то прибавили?

– Да, я еще кое-что прибавил.

– Повторите!

– Я сказал, что в той стране, откуда я прибыл, вас бы за это притянули к ответу.

– Только там! – с презрительным смехом восклицает Эдвин Друд. – А это, кажется, очень далеко? Ага, понимаю. Та страна далеко, и мы с вами от нее на безопасном расстоянии!

– Хорошо, пусть здесь! – Невил вскакивает, дрожа от гнева. – Пусть где угодно! Ваше тщеславие невыносимо, вашей наглости нельзя терпеть! Вы так себя держите, словно вы невесть какое сокровище, а вы просто грубиян! Да еще и бахвал при этом!

– Х-ха! – говорит Эдвин; он тоже разозлен, но лучше владеет собой. – А откуда вы это знаете? Я понимаю, если бы речь шла о чернокожих, тут вы могли бы сказать, что вот, мол, черный грубиян, а вот черный бахвал – их, наверно, много было среди ваших знакомых. Но как вы можете судить о белых людях?

Этот оскорбительный намек на смуглый цвет кожи Невила приводит того в такое неистовство, что он внезапным движением выплескивает остатки вина из своего бокала в лицо Эдвину, да и бокал отправил бы туда же, но Джаспер успевает схватить его за руку.

– Нэд, дорогой мой! – громко кричит он. – Я прошу, я требую – ни слова больше! – Все трое вскочили, звенит стекло, грохочут опрокинутые стулья. – Мистер Невил, стыдитесь! Отдайте стакан! Разожмите руку, сэр! Отдайте, говорю вам!

Но Невил бешено отталкивает его; вырывается; мгновение стоит, задыхаясь от ярости, со стаканом в поднятой руке. Потом с такой

силой швыряет его в каминную решетку, что осколки дождем сыплются на пол; и выбегает из дому.

Очутившись на воздухе, он останавливается: все вертится и качается вокруг него, он ничего не видит и не узнает – он чувствует только, что стоит с обнаженной головой посреди кроваво-красного вихря, что на него сейчас нападут и он будет биться до самой смерти.

Но ничего не происходит. Луна холодно глядит на него с высоты, словно он уже умер от разорвавшей ему сердце злобы. Все тихо; только кровь молотом стучит в висках. Стиснув голову руками, пошатываясь, он уходит. И слышит напоследок, что в доме задвигают засовы и накладывают болты, запираясь от него как от свирепого зверя. И думает – что же теперь делать?..

В уме его проносится дикая, отчаянная мысль о реке. Но серебряный свет луны на стенах собора и на могильных плитах, воспоминание о сестре и о добром человеке, который только сегодня завоевал его доверие и обещал ему поддержку, постепенно возвращают ему рассудок. Он поворачивает к дому младшего каноника и робко стучит в дверь.

В Доме младшего каноника ложатся рано, но сам мистер Криспаркл любит, когда уже все заснули, посидеть еще часок в одиночестве, тихонько наигрывая на пианино и напевая какую-нибудь из своих любимых арий. Южный ветер, который веет, где хочет, и, случается, тихими стонами бродит в ночи вокруг Дома младшего каноника, наверно, производит при том больше шума, чем мистер Криспаркл в эти поздние часы, – так бережет добрый Септимус сон фарфоровой пастушки.

На стук тотчас выходит сам мистер Криспаркл со свечой в руке. Когда он открывает дверь, лицо его вытягивается, выражая печальное удивление.

– Мистер Невил! В таком виде! Где вы были?

– У мистера Джаспера, сэра. Вместе с его племянником.

– Войдите.

Младший каноник твердой рукой берет юношу под локоть (по всем правилам науки о самообороне, досконально усвоенной им во время утренних упражнений), ведет его в свою маленькую библиотеку и плотно затворяет дверь.

– Я дурно начал, сэр. Очень дурно.

– Да, к сожалению. Вы нетрезвы, мистер Невил.

– Боюсь, что так, сэр. Но, честное слово, клянусь вам, – я выпил самую малость, не понимаю, почему это так на меня подействовало.

– Ах, мистер Невил, мистер Невил, – младший каноник с печальной улыбкой качает головой, – все так говорят.

– И по-моему – я не знаю, я и сейчас еще как в тумане, – но по-моему, племянник мистера Джаспера был не в лучшем состоянии.

– Весьма вероятно, – сухо замечает младший каноник.

– Мы поссорились, сэр. Он грубо оскорбил меня. Да он еще и до этого делал все, чтобы распалить во мне ту тигриную кровь, о которой я вам говорил.

– Мистер Невил, – мягко, но твердо останавливает его младший каноник, – я попросил бы вас не сжимать правый кулак, когда вы разговариваете со мной. Разожмите его, пожалуйста.

Юноша тотчас повинуется.

– Он так раздражил меня, – продолжает Невил, – что я не мог больше терпеть. Сперва он, может быть, делал это не нарочно. Но потом уже нарочно. Короче говоря, – Невил снова вдруг загорается гневом, – он своими издевками довел меня до того, что я готов был пролить его кровь. И чуть было не пролил.

– Вы опять сжали кулак, – говорит мистер Криспаркл.

– Простите, сэр.

– Вы знаете, где ваша комната, я вам показывал перед обедом. Но я вас все-таки провожу. Позвольте вашу руку. И пожалуйста, тише, все уже спят.

Мистер Криспаркл снова, все тем же научным приемом, берет Невила под руку и, зажав ее под собственным локтем не менее хитро и умело, чем испытанный в таких делах полицейский, с

невозмутимым спокойствием, недоступным новичку, ведет своего воспитанника в приготовленную для него чистую и уютную комнатку. Придя туда, юноша бросается в кресло и, протянув руки на письменный стол, роняет на них голову в припадке раскаяния и самоуничижения.

Кроткий мистер Септимус намеревался уйти, не говоря более ни слова. Но, оглянувшись на пороге и видя эту жалкую фигуру, он возвращается, кладет руку юноше на плечо и говорит ласково:

– Спокойной ночи!

В ответ раздается рыдание. Это неплохой ответ – пожалуй, лучший из всех, какие могли быть.

Спускаясь по лестнице, он опять слышит тихий стук у парадного входа и идет открыть. Отворив дверь, он видит перед собой мистера Джаспера, который держит в руках шляпу его воспитанника.

– У нас только что произошла ужасающая сцена, – говорит мистер Джаспер, протягивая ему шляпу.

– Неужели так плохо?

– Могло кончиться убийством.

– Нет, нет, нет! – протестует мистер Криспаркл. – Не говорите таких ужасных слов!

– Он едва не поверг моего дорогого мальчика мертвым к моим ногам. Он так зверски на него накинулся... Если бы я вовремя не удержал его – благодарение Богу, у меня хватило проворства и силы, – пролилась бы кровь.

Это поражает мистера Криспаркла. «Ах, – думает он, – его собственные слова!»

– После того что я сегодня видел и слышал, – продолжает мистер Джаспер, – я не буду знать ни минуты покоя. Всегда буду думать – вдруг они опять где-нибудь встретились, с глазу на глаз, и некому его остановить? Сегодня он был прямо страшен. Есть что-то от тигра в его темной крови.

«Ах, – думает мистер Криспаркл, – так и он говорил!»

– Дорогой мой сэръ, – продолжает Джаспер, – вы сами не в безопасности.

– Не бойтесь за меня, Джаспер, – отвечает младший каноник со спокойной улыбкой. – Я за себя не боюсь.

– Я тоже не боюсь за *себя*, – возражает Джаспер, подчеркивая последнее слово. – Я не вызываю в нем злобы – для этого нет причин, да и быть не может. Но вы можете ее вызвать, а мой дорогой мальчик уже вызвал. Спокойной ночи!

Мистер Криспаркл возвращается в дом, держа в руках шляпу, которая так легко и незаметно приобрела право висеть у него в передней, вешает ее на крючок и задумчиво уходит к себе в спальню.

Глава IX

Журавли в небе

Оставшись круглой сиротой в раннем детстве, Роза с семи лет не знала иного дома, кроме Женской Обители, и иной матери, кроме мисс Твинклтон. Свою родную мать она помнила смутно как прелестное маленькое создание, очень похожее на нее самое (и лишь немногим старше, как ей казалось). Зато ярким и отчетливым было воспоминание о том роковом дне, когда отец Розы на руках принес свою мертвую жену домой – она утонула во время прогулки. Каждая складка и каждый узор нарядного летнего платья, длинные влажные волосы с запутавшимися в них лепестками от размокшего венка, скорбная красота уложенной на кровать юной покойницы – все это неизгладимо запечатлелось в памяти Розы. Также сперва бурное отчаяние, а после угрюмая подавленность ее бедного молодого отца, который скончался, убитый горем, в первую годовщину своей утраты.

Единственным его утешением в эти тяжкие месяцы было внимание и сочувствие близкого друга и бывшего школьного товарища, Друда, тоже рано оставшегося вдовцом; отсюда и родилась мысль о помолвке Розы. Но и этот друг вскоре ушел той одинокой дорогой, в которую рано или поздно вливаются все земные странствия. Вот каким образом сложились уже известные нам отношения между Эдвином и Розой.

Общее настроение умиленной жалости, словно облаком окутавшее сиротку при первом ее появлении в Женской Обители, не рассеялось и позже. Оно только окрашивалось в более светлые тона по мере того, как девочка подрастала, хорошела и веселела. Оно бывало то золотым, то розовым, то лазурным, но всегда окружало ее каким-то особенным, трогательным ореолом. Все старались утешить ее и приласкать – а привело это к тому, что с Розой всегда

обращались так, словно она была моложе своих лет, и продолжали баловать ее, как дитя, когда она уже вышла из детского возраста. Пансионерки спорили между собой, кто будет ее любимицей, кто, предугадывая ее желания, сделает ей какой-нибудь маленький подарок или окажет ту или иную услугу; кто возьмет ее к себе на праздники; кто станет чаще всех писать ей, пока они в разлуке, и кому она больше всего обрадуется при встрече – и это ребяческое соперничество порождало иной раз огорчения и ссоры в стенах Женской Обители. Но дай Бог, чтобы бедняжки-монахини, некогда искавшие здесь успокоения, таили под своими покрывалами и четками не более серьезные распри, чем эти!

Так Роза росла, оставаясь ребенком – милым, взбалмошным, своевольным и очаровательным; избалованным – в том смысле, что привыкла рассчитывать на доброту окружающих, но не в том смысле, что платила им равнодушием. В ней был неиссякаемый родник дружелюбия, и сверкающие его струи в течение многих лет освежали и озаряли сумрачный старый дом. Но глубины ее существа еще не были затронуты; и что станется с ней, когда это произойдет, какие перемены свершатся тогда в беззаботной головке и беспечном сердце, могло показать только будущее.

Весть о том, что молодые джентльмены вчера поссорились и чуть ли даже мистер Невил не поколотил Эдвина Друда, проникла в пансион еще до завтрака, а каким путем – сказать невозможно. То ли ее обронили на лету птицы или забросил ветер, когда утром раскрыли окна; то ли ее принес булочник запеченной в хлебе или молочник вместе с прочими подмесями, коими он разбавлял молоко; то ли она осела из воздуха на коврики, взамен пыли, которую из них выбили поутру служанки энергичными ударами о столбы ворот; достоверно одно – что весть эта расползлась по всему дому раньше, чем мисс Твинклтон сошла вниз; а мисс Твинклтон узнала ее от миссис Тишер, пока еще одевалась или – как сама она выразилась бы в разговоре с пристрастным к мифологии родителем или опекуном – возлагала жертвы на алтарь Граций.

Брат мисс Ландлес бросил бутылкой в мистера Эдвина Друда.

Брат мисс Ландлес бросил ножом в мистера Эдвина Друда.

Нож приводил на память вилку; откуда новый вариант: брат мисс Ландлес бросил вилкой в мистера Эдвина Друда.

Но если в известной истории о том, как Петрик-ветрик перчил вепря верцем-перцем – тру-ля-ля! – прежде всего заинтересовывает физический факт, а именно таинственный верец-перец, которым ветренный Петрик вздумал перчить незадачливого вепря, то в данной истории всех интересовал факт психологический, а именно таинственная причина, побудившая брата мисс Ландлес бросить в Эдвина бутылкой, ножом или вилкой, а может быть, даже бутылкой, ножом и вилкой, ибо, по сведениям, полученным поварихой, в деле участвовали все три предмета.

Желаете ее знать? Пожалуйста! Брат мисс Ландлес сказал, что влюблен в мисс Буттон. Мистер Эдвин Друд сказал, что это довольно нахально с его стороны – влюбляться в мисс Буттон (так по крайней мере выходило в изложении поварихи). Тогда брат мисс Ландлес вскочил, схватил бутылку, нож, вилку и графин (в последний момент усердием той же поварихи присоединенный к ранее обнародованному списку метательных снарядов) и запустил всем этим в мистера Эдвина Друда.

Бедная малютка Роза, когда до нее дошли эти вести, заткнула себе оба уха указательными пальчиками и, забившись в угол, только жалобно умоляла, чтобы ей ничего больше не рассказывали. Но действия мисс Ландлес отличались большей определенностью: надеясь узнать правду от мистера Криспаркла, она немедленно отправилась к мисс Твинклтон и просила разрешения пойти поговорить с братом, дав при этом понять, что обойдется и без разрешения, если в таковом ей будет отказано.

Когда Елена вернулась к своим товаркам (сперва задержавшись на короткое время в гостиной мисс Твинклтон, где принесенные сведения были заботливо отцежены от всего неприличного для ушей воспитанниц), она только одной Розе рассказала о вчерашнем

столкновении, да и то не полностью; она утверждала – с пылающими щеками, – что брат ее был грубо оскорблен, но почти не коснулась всего, что предшествовало последнему непереносимому оскорблению: «Так, были разные колкости», – сказала она, но, щадя подругу, не пояснила, что колкости возникли главным образом оттого, что Эдвин слишком уж легко и небрежно говорил о предстоящей ему женитьбе. Затем она передала Розе уже непосредственно к ней обращенную просьбу брата – он умолял простить его, – и, выполнив свой сестринский долг, прекратила всякие разговоры на эту тему.

Необходимость умерить брожение умов в Женской Обители легла на плечи мисс Твинклтон. Когда эта почтенная матрона величаво вплыла в помещение, которое плебеи назвали бы классной комнатой, но которое на патрицианском языке начальницы Женской Обители эвфуистически и, возможно, не в полном соответствии с действительностью именовалось «залом для научных занятий», и торжественно, как прокурор на суде, произнесла: «Милостивые государыни!» – все встали. Миссис Тишер тотчас с видом воинственной преданности заняла место позади своей хозяйки, как бы изображая собой отмеченную историей первую сторонницу королевы Елизаветы во время памятных событий в Тильбюрийском форте^[5]. Затем мисс Твинклтон сказала, что Молва, милостивые государыни, была изображена Эвонским бардом – надеюсь, всем понятно, что речь идет о бессмертном Шекспире, которого также называют Лебедем его родной реки, основываясь, надо полагать, на древнем суеверии, будто эта птица с изящным оперением (мисс Дженнингс, будьте добры стоять прямо) сладкогласно поет перед смертью, что, однако, не подтверждается данными орнитологии, – итак, Молва, милостивые государыни, была изображена этим бардом, который... э-гм!

...пером как кистью владея,

Оставил нам блистательный портрет еврея.

Молва, говорю я, была изображена им стоустой и многоязыкой. Молва в Клойстергэме (мисс Фердинанд, не откажите уделить мне немного внимания) не отличается от Молвы во всех прочих местах, имея те же характеристические черты, столь тонко подмеченные великим портретистом. Незначительный fracas^[6] между двумя молодыми джентльменами, имевший место вчера вечером в радиусе не далее ста миль от этих мирных стен (так как мисс Фердинанд по всем признакам неисправима, ей придется сегодня же вечером переписать первые четыре басни нашего остроумного соседа, мосье Лафонтена, на языке автора), был грубо преувеличен устами Молвы. В первую минуту смятения и тревоги, вызванной сочувствием к дорогому нам юному существу, для которого в известном смысле не является чужим один из гладиаторов, подвизавшихся на вышеупомянутой бескровной арене (неприличие поведения мисс Рейнольдс, пытающейся, кажется, поразить себя в бант булавкой, слишком очевидно и столь недостойно молодой девицы, что о нем незачем и говорить), мы решили сойти с наших девственных высот, дабы обсудить эту изменную и всячески неподобающую тему. Однако свидетельства авторитетных лиц убедили нас в том, что все происшедшее относится к категории тех «воздушных миражей», о коих говорит поэт (чье имя и дату рождения мисс Гигглс будет добра выяснить в течение ближайшего получаса), и мы предлагаем вам забыть этот прискорбный случай и сосредоточить все свое внимание на приятных трудах текущего дня.

Но прискорбный случай не был забыт во весь текущий день, и за обедом мисс Фердинанд навлекла на себя новые кары, так как, нацепив бумажные усы, исподтишка замахивалась графином на мисс Гигглс, а та оборонялась столовой ложкой.

Роза также много думала о вчерашних событиях, думала с гнетущим чувством, смутно догадываясь, что и сама она как-то

замешана в этой истории – не то в ее причинах, не то в последствиях, не то еще неизвестно как – и что это связано с общим ее фальшивым положением в отношении жениха и помолвки. В последнее время это гнетущее чувство не покидало ее как в присутствии Эдвина, так и тогда, когда его с ней не было. А в этот день она вдобавок была предоставлена самой себе и даже не могла отвести душу в откровенной беседе со своей новой подругой, потому что ссора-то была с братом Елены, и та явно избегала трудного и щекотливого для нее разговора. И как на грех, именно в этот критический момент Розе сообщили, что прибыл ее опекун и желает ее видеть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



ЧАРЛЗ

ДИККЕНС

ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Примечания

1

Восточная танцовщица.

[Вернуться](#)

2

Матрос-индиец.

[Вернуться](#)

3

Бельцони Джованни-Баттиста (1778–1823) – известный египтолог и коллекционер, совершивший несколько важных открытий: в 1817 году он обнаружил близ Фив гробницу фараонов Сети I, чем положил начало дальнейшим находкам в Долине царей, а в 1818 году открыл пирамиду Хэфрена и проник в ее погребальную камеру.

[Вернуться](#)

4

Принятая в английском суде формула произнесения смертных приговоров.

[Вернуться](#)

5

При известии о выступлении Испании против Англии и о посылке мощного испанского флота – Непобедимой Армады – к английским берегам (1587–1588) королева Елизавета отправилась в город Тильбюри, недалеко от Лондона, делать смотр войскам и произнесла там речь – обращение к английскому народу, в котором выражала готовность разделить участь своих подданных и вместе с ними бороться до конца за независимость Англии.

[Вернуться](#)

6

Стычка (фр.).

[Вернуться](#)